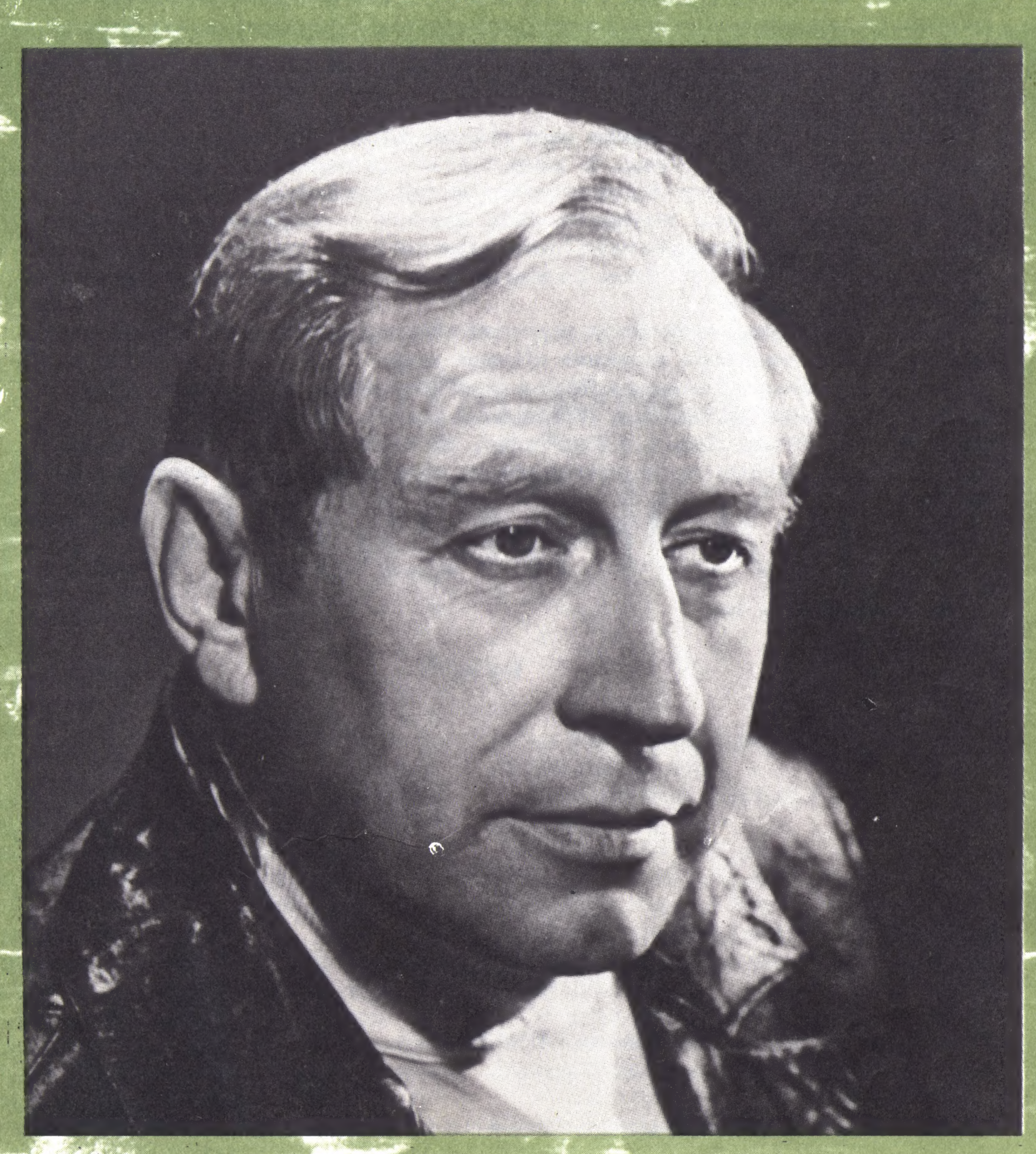
№16 (1022) 1985

РОМАН-ГАЗЕТА

ISSN 0131-6044



ОЛЕГ СМИРНОВ

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

ОЛЕГ СМИРНОВ

Олег Павлович Смирнов родился в 1921 году в станице Кореновская (ныне г. Кореновск) Краснодарского края. В 1939 году закончил среднюю школу. В феврале 1942 года со студенческой скамьи ушел на фронт. Был рядовым, сержантом, офицером. Воевал на Северо-Кавказском, Западном, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, Забайкальском фронтах. Был ранен, контужен. Награжден советскими и иностранными боевыми орденами и медалями. В 1943 году вступил в ряды Коммунистической партии. После Великой Отечественной войны восемь лет прослужил в пограничных войсках.

Писать Олег Смирнов начал еще студентом, опубликовал в «Крокодиле» несколько юморесок. В военные и послевоенные годы писал стихи, очерки, юмористические и сатирические рассказы. И лишь основательно овладев пером, позволил себе взяться за серьезную психологическую прозу. Первое крупное произведение его — повесть «Барханы», напечатанная в 1966 году. Член Союза писателей СССР. Окончил Высшие литературные курсы.

Работал главным редактором журнала «Молодая гвардия», заместителем главного редактора журнала «Новый мир».

Автор романов «Северная Корона», «Прощание», «Эшелон», «Неизбежность», повестей «Июнь», «Обещание жить», «Зеленая осень», «Наследство», «Поиск», Девичья Слобода», «В отрогах Копет-Дага», «Скорый до Баку, «Гладышев из разведроты», «Красный дым» и многих рассказов.

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№ 16 (1022)
1985
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

ОЛЕГ СМИРНОВ

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

РОМАН

1

Жарища — градусов сорок. Это если в тени, разумеется. Но поскольку нет и намека на тень — ни деревца, ни кустика, необозримая степь-голыш, чуть прикрытая ковылем,— то термометр, думаю, показывает все шестьдесят. Старшина Колбаковский утешает:

— В июле еще жарчей.

Старожилу монгольских степей как не поверить? Заманчивая перспектива роста. Будем расти. По Цельсию. А если обойтись без Цельсия, то видишь: мои солдатики упрели донельзя, лица красные, распаренные, мокрые, трудовой пот стекает ручейками, носами хлюпают, как насморочные. Ах, ограничилось бы пролитием пота, хоть в сто раз больше готовы пролить, но ведь потребуется и кровушка, война ведь будет. А воевать сподручней посуху, по теплу, летом. Чем не время для войны? Самое распрекрасное время. Да, солдаты упрели, однако настроение бодрое, а у Колбаковского даже приподнятое: старшина словоохотлив, благожелателен и улыбчив. Утеревши лоб рукавом гимнастерки, ефрейтор Свиридов говорит:

— Товарищ старшина, душа ликует, что возвернулись в родные места?

Колбаковский отвечает с улыбкой и вместе с тем построжав:

— Ликует. Хотя родина моя, к твоему сведению, Ставропольский край, станция Прохладная...

— Прохладная? Вот бы туда из данного пекла!

— А с монгольскими краями, Свиридов, я тоже, считай, породнился, сколь оттрубил тут... Да и ты породнишься!

— Трубить придется?

— Не обязательно. Хватит того, что пройдешь по стране своими ножками, увидишь ее своими глазками.

— Ежели к тому же Егорша и с какой монголочкой обзнакомится... — Это мой верный ординарец Миша Драчев.

— У тебя одно на уме,— отмахивается от него Свиридов.

— А что? Плохо, что я завсегда про то думаю? Ха-ха!

Между станцией Баян-Тумэнь и городком при ней мы сразу увидели своего рода кладбище списанных танков. В квадрате полтора километра на полтора поржавелые стальные коробки, оружие снято, гусени-

цы сняты. Старшина Колбаковский объяснил: эти танки подбиты на Халхин-Голе, в тридцать девятом, когда советско-монгольские войска давали отпор японским захватчикам.

Я думаю: «Видно, жестокие бои были на Халхин-Голе. Но с той поры как далеко шагнула наша военная техника!» Та самая, от которой гудит нынче монгольская степь, пропахшая не только полынью, но и порохом...

От Баян-Тумэни, куда прибыли в полдень, мы шагаем уже часа полтора; станция и городок — смесь деревянных домов и войлочных юрт — остались позади, в знойном мареве; оно встает и впереди, переливается над всхолмленной степью, над тем, что творится в ней. Бог ты мой, что там творится! На своем веку я перевидал скопления людей и техники — особенно накануне крупных наступлений,— но такого, клянусь, не видел! К Баян-Тумэни — от Борзи сюда вела уже однопутка — подходили эшелон за эшелоном, войска быстренько выгружались, строились и уходили в знойную, с блеклой травой и небом степь, как бы всасываемые ею. Но эшелонов было столько, что, как рассказал мне Федя Трушин, всеведущий замполит батальонный, железная дорога на участках Карымская — Борзя и Борзя — Баян-Тумэнь не справлялась, и потому командование решило моторизованные части и артиллерию на механической тяге выгружать на участке Чита — Карымская и направлять их своим ходом по грунтовкам. Это значит пятьсот — шестьсот километров до района сборов топай железными ножками. А нас, пехоту, поскольку ножки наши обыкновенные, человеческие, довезли аж до Баян-Тумэни. Благодарим за чуткое отношение. И сейчас мы топаем к дивизионному району сбора за Баян-Тумэнью, за рекой Керулен (Федя Трушин сказал: голубой Керулен, и это прозвучало как голубой Дунай, но мне, не видавшему Дуная, но видавшему Дон и Волгу, Керулен не показался могучим; впрочем, для этой засушливой, маловодной части Монголии и Керулен и Халхин-Гол — реки что надо). Я иду во главе роты и посматриваю по сторонам. О, черт возьми, ну и нагнали нашего брата! Пехотные колонны, танковые, артиллерийские, автомобильные, кавалерийские движутся в степи по едва-едва накатанным дорогам и чаще без дорог — по солончакам, по ковылю и полыни, по низкорослой, стелющейся к земле колючке — в неоглядной степи, ограниченной по горизонту сопками, стало вроде бы тесно.

Пыль над колоннами столбом, и, если сверху засечь эту картину, фотоснимок оказался бы находкой для кое-чьей разведслужбы. Но вражеских самолетов в небе не видно, видны лишь родные, краснозвездные. А вражеские — чьи? Японские? Сохраняя военную тайну, скажем: кое-чьи. Самолеты еще ближе к солнцу, чем мы, и мне кажется, им еще жарче, хотя это вздор: воздух на высоте холодный. Временами тень от самолетов скользит над нами, и хочется как-то придержать ее, мимолетную. И это тоже вздор: не придержишь. На полевые аэродромы, поближе к театру будущих военных действий, перебазируются и бомбардировщики, и штурмовики, и истребители, и транспортники. Славно, когда в небе тесно от своих, краснозвездных.

Гляди-ка, вот и колонна «катюш» — реактивные установки затянуты брезентом. Ну это уже чудо военной техники: кто из нас не слыхал потрясающего залпа «катюш» — непередаваемый скрежет, аж сердце заходится, машины окутываются дымом, в воздухе раскаленные стрелы реактивных снарядов, и они беспощадно вонзаются во вражеские укрепления, расплескивая смертоносный огонь. Гитлеровцы до чертиков боялись «катюш». А дивизион гвардейских минометов дал залп — и ходу, чтоб его не засекли, готов стрелять с другой позиции...

Пыль, просвеченная солнечными лучами, золотится, сверкает — очень красиво; оседает на потные лица, похрустывает на зубах — очень противно. Глотка у меня пересохла, и непонятно, как может брызгать слюной хохочущий весельчак-ординарец, в миру — Мишка Драчев. Зверски тянет пить, однако удерживаю себя. Прислушиваясь, как булькает вода во фляге, закаляю волю. Фляжки в роте не у всех, и комбат предупредил: на обильное водопитие не рассчитывайте, вообще до обеда воды не будет. Все это цветочки, первые километры по монгольской степи, ягодки — дальше, когда части сосредоточатся в районе сбора, всей дивизией махнем по степи, степи широкой, на юг, до Тамцак-Булака, расстояние — что-то около четырехсот километров. Так-то вот: четыреста. По солнышку, по безводью и бездорожью, с полной выкладкой. По Европе мы хаживали, по Азии еще не доводилось. Ничего, пройдем и Азию. Природа не главное для нас испытание. Главное — когда начнут стрелять. Не в Монголии, а южнее, в Маньчжурии. Кто? Да кое-кто. Военная тайна. Вообще-то говоря, до собственно Маньчжурии надо преодолеть Внутреннюю Монголию, километров двести — триста, не меньше. А Внешняя Монголия — это Монгольская Народная Республика, где мы имеем честь находиться. Так-то, ежели уточнить. Но ежели без уточнений: все, что лежит за границей,— Маньчжурия.

Слышу за спиной:

— Товарищ старшина, а правду говорят, что в Монголии зимой пятьдесят градусов? — Вопросом разражается молчун Рахматуллаев.

То ли узбек забыл, что в эшелоне старшина уже рассказывал про это, то ли сам Колбаковский забыл, но сразу оживляется:

— Точно, товарищ Рахматуллаев, морозики жмут и за полсотни.

— Не могёт быть! Я делаю вот такие глаза! — Кулагин подносит к глазам большие и указательные пальцы, образующие внушительных размеров полукольца.

А старшина явно доволен тем, что к нему обратились: он не без основания считает себя крупным специалистом по Монголии, обо всем к ней относящемся рассуждает с непререкаемостью знатока, и ему не нравится, если о Монголии высказывается кто-нибудь другой.

Когда выгрузились в Баян-Тумэни, в роту пришел замполит Трушин:

— Хлопцы, вы знаете, кто руководитель Монголии? Маршал Чойбалсан!

— А как же иначе? — тотчас сказал Колбаковский. — Маршал Чойбалсан бывал не раз в Семнадцатой армии, я лично зрел. Вот как вас, товарищ гвардии старший лейтенант...

— И какой же он? — спросил Головастиков.

— Обыкновенный. Обличьем монгол то есть. Большой начальник. Маршал! Вождь! Понял, Головастик?

— Как Сталин у нас?

— Точно! — сказал Колбаковский строго и, вытащив расческу, принялся причесываться — любил то и дело шуровать ею и, кажется, именно от этого поплешивел, повыдергивал волосы.

И вдруг Логачеев сказал:

— Я тож видал маршала Чойбалсана, иху вождя. — Сплошь татуированный каспийский рыбак почему-то склоняет местоимение «их», и получается чудовищное: иху, иха и прочее.

Ему не поверили — присвистнули, засмеялись, закидали репликами: «Тю, с фронта в командировку приезжал в Улан-Батор?», «Его Чойбалсан вызвал, соскучился!», «Чаи с ним гонял?», «Какой там чай, они на кумыс да араку налегали!».

Логачеев, не смутясь, ответил:

— В Улан-Батор меня не вызывали, чаи не гонял. Водку тож не пил, и называется она не арака — архи... А Чойбалсан с монгольской делегацией приезжал на Западный фронт, а я на этом фронте всю дорогу... Дошло?

Ему опять не поверили. А ведь каспийский рыбак не врал!

— Ребята,— сказал я,— и у нас в полку побывал Чойбалсан. Делегация сопровождала целый эшелон подарков монгольского народа Западному фронту: скот, полушубки, валенки, сапоги, душегрейки и прочее... Мне выпало пожать руку маршалу!

Вижу, что и мне не верят. А было же: на опушке, посреди смоленских берез, меня выкликнули из строя, маршал Чойбалсан вручил меховую безрукавку (ее я потом отдал замерзавшему раненому, фамилию бойца этого теперь уж и не помню), и мы обменялись рукопожатием, сказали друг другу: я — «Служу Советскому Союзу!» и «Благодарю, товарищ маршал!», он — «Желаю боевых успехов!», по-русски сказал. Мне везло: с маршалом Чойбалсаном ручкался, с генералом армии Черняховским ручкался. А вы не верите, чертяки! Но никакой досады я не испытываю, о солдатиках думаю с ласковостью, немного снисходительной: вам-то не выпадало этакой чести!

Я иду, жмурясь от солнца, оно бьет по зрачкам будто прямой наводкой; пот стекает со лба, с носа — прямо в рот: горько и солоно, как вода в озерце, которое мы повстречали на пути и к которому сбежались в надежде напиться; отплевывались затем четверть часа, так и не отплевались. Автоматный ремень режет, лямки вещевого мешка режут; спасибо, хоть скатки комбат разрешил везти на подводах; другие ротные командиры побросали на повозки и свои вещмешки, я ж из принципа тащу: как все в моей роте, так и я. Не принцип, а глупость? Не согласен! Но кто с тобой спорит? Никто. Сам с собой споришь.

Внезапно возникает мысль: а все-таки окончание железнодорожного путешествия (двадцать пять суток отдай) какой-то труднопереступимой чертой отрезало меня от прошлого; это прошлое после выгрузки на станции в Баян-Тумэни еще дальше отодвинулось, еще гуще заволоклось дымкой. Не забвение это, а прощание. Забыть я ничего не забуду, но попрощаться, может быть навечно, надо. И с Эрной попрощаться, и с Ниной — они чаще и чаще словно совмещаются, сливаясь в образ одной женщины, хотя с первой у меня было все, а со второй ничегошеньки не было: первую любил, второй только симпатизировал. При мыслях об Эрне и о Нине мне становится грустно, но печаль не гнетет, чистая, она очищает от обыденщины, от прилипчивости бытовых мелочей.

Перед решающим в апреле штурмом Кенигсберга возле какого-то городишки, кажется Варгена, мой верный оруженосец Миша Драчев приволок в землянку подшивку немецких газет. Похвалился:

— Товарищ лейтенант, теперича обеспечу взвод бумагой!

— Для чего?

— Не для сортира, товарищ лейтенант, для курева!

— Где только раскопал, подшивка-то пыльная, старая.

— На чердаке надыбал!

Я раскрыл картонную обложку и ахнул: первым был подшит номер центральной нацистской газеты «Фёлькишер Беобахтер» за 22 июня 41-го года! Рассматривал фотографии, читал к ним подписи, заметки, фронтовой репортаж, речь Йозефа Геббельса и будто воочию видел то утро в Берлине.

Оно было ясное, солнечное; на тротуарах толпы у репродукторов: то вскрикивая, то понижая голос до шепота, Геббельс говорил, что большевики готовили немцам удар в спину, но фюрер решил двинуть войска на Советский Союз и этим спас германскую нацию. Чуть позже по берлинским тротуарам бежали мальчишки, размахивая экстренными выпусками газет — на первых страницах напечатаны победоносные сообщения германского командования: ночью немецкие самолеты бомбили Могилев, Львов, Ровно, Гродно и другие города, сухопутные войска перешли в наступление. И фронтовые снимки: советские бойцы и командиры — убитые, раненые, эти снимки передо мной...

Вот какой номер «Фёлькишер Беобахтер» разглядывал я под Варгеном в марте сорок пятого года. Миша Драчев тогда спросил:

— Что с вами, товарищ лейтенант? Вроде аж в личности переменились?

Я показал своим солдатам газету, объяснил, что в

ней напечатано о начале войны. Все притихли. Потом загалдели. Я поднял руку:

— Ладно, братцы! Гитлер и его банда получают по заслугам. Недаром мы у Кенигсберга, да и до Берлина недалеко...

Я листал подшивку, в ней были кроме «Фёлькишер Беобахтер» и другие газеты, кто-то аккуратно, день за днем, подшивал их. История войны с нацистской точки зрения была представлена здесь. Вплоть до Московского сражения. Похоже, когда немцев разгромили под Москвой, газетки перестали подшивать. Хотя было еще три года войны. С лишним.

Подробно изучать подшивку было недосуг, к тому же на раскурку требовалась. Я отдал ее добытчику Драчеву, солдаты задымили цигарками вовсю: немецкая бумага, советская махра! И мне казалось: сизоватый дым от сгоревших фашистских планов и надежд. Мы их сожгли!

Об этом вспомнилось тут, в центре Азии, как бы на перегоне между прошедшей войной и будущей.

2

— Прива-ал! — раздается по колонне.

Мы останавливаемся, сходим с дороги, какая там дорога, следы автомашин чуть приметные — вот и вся дорога. Солдаты сбрасывают вещмешки, плюхаются на раскаленную, в трещинах землю, мешки — под головы, под локти. Вытягиваются, блаженствуют, кто курит, кто сует папироску обратно в пачку: душа в жару не принимает. Балагурят:

— Товарищ старшина, а верно ведь, в Монголии полно монголов, как в Бурятии бурят, а в Италии итальянцев?

Но Колбаковский не поддается на вышучивание:

— Перестань балабонить, ты ж какой-никакой, а ефрейтор!

Не ожидавший этого Свиридов в первое мгновение тушуется, но тут же понимающе кивает:

— Правильно! Ефрейтор — это отличный солдат...

К нашей роте подходит замполит Трушин с кипой газет под мышкой, раздав их парторгу Симоненко, комсоргу и агитаторам, примащивается рядом со мной, разворачивает фронтовую газету «На боевом посту».

— Новость так новость! Указом от двадцать шестого июня Сталину присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза!

— Здорово,— говорю. — Суворов тоже был генералиссимус.

— Какие победы одерживал! Как прославил русское оружие! До сих пор помним...

Прислушивавшийся к разговору, будто настроивший на нашу волну свои оттопыренные уши-звукоуловители кисловодский житель Яша Востриков, не познавший бритвы и боев, говорит, деликатно покашливая:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, я в журнальчике вычитал, что в настоящее время в живых два генералиссимуса: Чан Кайши в Китае и Франко в Испании...

И ярославский житель Вадик Нестеров, столь же начитанный юноша, тоже безусый юнец, пришедший в роту уже после овладения Кенигсбергом, не нюхавший пороху и, по-моему, водки, вклинивается:

— Я тоже где-то читал про это.

— Теперь есть и третий,— брякаю я и спохватываюсь: именно брякнул, невпопад, да и Востриков с Нестеровым, начитанные юноши, некстати приплели Чан Кайши и Франко.

Трушин переводит пристальный взгляд с меня на Вострикова с Нестеровым, опять нацеливается на меня, опять на Вострикова с Нестеровым. Произносит с расстановкой:

— Как поворачивается язык называть в одном ряду с этими именами имя Сталина? Идиотство!

— Форменное идиотство,— соглашаюсь я поспешно. Нестеров буреет от растерянности, а великолепные уши-звукоуловители Вострикова словно вянут и опадают.

— Олухи, где же ваши мозги? — сумрачно говорит Трушин, поднимаясь. — Сидеть с вами неохота. Опошлили такую новость!

Прав он, неладно как-то вышло. Все трое допустили ляп. Но то безусые солдаты, а то зрелый офицер, командир роты. Не во всем, видать, зрелый... Хотя ругать меня при подчиненных не стоило бы. И вдруг вспоминаю, как мать Эрны говорила: ваш Сталин лучше нашего Гитлера, как я поправлял ее: их и сравнивать нельзя,— и как бедная фрау Гарниц оправдывалась, сбиваясь и конфузясь. Там лейтенант Глушков проявил зрелость, здесь не проявил. Печально. И Федора Трушина как будто кровно обидел. Нехорошо. До того нехорошо, аж настроение подпортилось. Вот так ляпнешь не подумавши, а после жалеешь... Однако Федор, честно же, зря наскочил: я, как и он, рад, что Иосифу Виссарионовичу присвоили генералиссимуса, Верховный Главнокомандующий заслужил. И я заслужил старшего лейтенанта, комбат упоминал: представление ушло в дивизию. От товарища Сталина к собственной персоне — умеет Петр Глушков перескакивать... А интересно, сошьют Сталину какую-то новую форму, отличную от маршальской? Как она будет выглядеть? То ли дело старший лейтенант: новой формы не нужно, даже погоны прежние, прикрепи только лишнюю звездочку. И на Трушина ушло представление: капитан, тоже добавочную звездочку прикрепит. Растем.

На привалах я люблю и умею расслабляться. Мышцы рук и ног, плеч, шеи, спины теряют напряжение, скованность, делаются мягкими, будто бы безвольными, и неплохо при этом отдыхают. Но валяться на земле горячо: жжет через обмундирование. И суховей, взбаламучивая пыль, песок и камешки, дует из чрева степного, обжигает кожу и легкие. Ветер, а приносит не прохладу — зной. Из пустыни Гоби налетает, потому и называется — гобиец, старшина Колбаковский просветил. Переворачиваюсь на другой бок. Лежу со слипающимися глазами, и потому, ве-

роятно, меня словно начинает покачивать. Это покачивание навевает дремоту, а может, наоборот: из-за дремоты кажется, что покачивает. Как бы там ни было, я вдруг ощущаю себя едущим в эшелоне. И будто колеса стучат. И будто теплушка раскачивается, и путь мой обратно, на запад, в Германию, к Эрне! Рывком поднимаю голову, хлопаю ресницами: задремал и примерещилось, я ж в Монголии, среди своих солдат, железная дорога оборвалась в Баян-Тумэни. Наверное, многодневная качка в теплушке не скоро из меня выветрится. Но привиделось-то: еду назад, к Эрне, не привиделось, что еду дальше, на Тамцак-Булак, по узкоколейке. На Тамцак-Булак мы пойдем пéши, как говорят на Дону. Где он, мой Дон? Далёко. Поблизости — иная река, Керулен. Жаль, что не совсем рядышком: не испить речной водички. А что было бы, если б снегом на голову заявился к Эрне? Вообрази, пофантазируй, потерзай себя — зачем тебе это? Не совершится такое никогда.

Все-таки импульсивный человек Петр Васильевич Глушков! Судите сами: ни с того ни с сего вспомнил о блокнотике, куда заносил свои гениальные или — скромнее — ценные мыслишки. Давненько не мусолил карандаш, а тут, на привале, усталый, измотанный, вытащил из планшета, зачиркал по бумаге: «Думаю о жизни и смерти. Это естественно, ибо они взаимосвязаны. Как война и мир. Так вот: после войны, когда отойдет она в далекое или не очень далекое прошлое, ее участники начнут помаленьку умирать. Сперва умрут нынешние маршалы, потом генералы, потом полковники и майоры, а там очередь дойдет и до лейтенантов нынешних. Грустно все-таки будет, когда вымрут ветераны. Разумеется, в почтенном возрасте». Записав эту тираду, подумал: не все мы доживем до Победы и, следовательно, до почтенного возраста, кто-то сложит буйную головушку по ту сторону китайской (в данный момент точнее — японской) границы. Могу сложить и я. Чем я лучше других?

Тут вопрос: за что умирать? Как за что? Мы будем воевать с агрессором, который разбойничает в Китае, Корее, Вьетнаме, Бирме, Малайе, на Филиппинах и еще в скольких-то странах и который опасен для нашей собственной страны. Эта война — неизбежность. Рассуждаю «в лоб»? Возможно. Так приучен. Но по существу-то верно рассуждаю! Ну, а война есть война. Кому-нибудь не повезет. И его оплачут родные и близкие. Мне тоже может не повезти. Но кто меня оплачет? Эрна ничего не узнает, отца-матери нет. А однополчане слез не льют, залп над могилой — и точка. Да слезами ведь и не поможешь, и вообще не мужское это занятие — лить слезы. Женщины плачут, дети. А еще клен плачет. На юге, на Дону, татарского клена в достатке. Так вот, с черешков кленовых листьев перед дождем капают «слезы». Дерево за несколько часов до ненастья оповещает о нем человека. Как барометр. Лишь приглядись повнимательнее к листочкам у твоего окна...

В монгольской степи не приглядишься. Во-первых, нет и намека на клен или какое-нибудь иное дерево. Во-вторых, нет и намека на возможность дождей. Сушь, сушь. Между прочим, комбат предупреждает нас, ротных: осторожней со спичками, с непотушенными цигарками, бросишь в высохшую траву — пойдет пал, то есть степной пожар. Я предостерегаю своих солдат, а сам думаю: пал может пойти и от искры из любой выхлопной трубы, техники-то во-он сколько понагнали, небывалое скопище! Степь нашпигована машинами, как сало чесноком. Когда-то мама в Ростов-городе делала такое сало. Невероятно вкусно, и невероятно давно это было...

А пить-то хочется. Несколько глотков не утихомирили жажду. Напиться бы от пуза из голубого Керулена! Да отдаляемся и отдаляемся от него. Выпил бы я водки вместо воды? Ни за что. А Толя Кулагин с разномастными глазами выпил бы. Любопытно, как смотрели бы его глаза — правый, серый, и левый, карий, какой нахально и какой виновато? А не отдаляюсь ли я от солдат? Лежу один, молчком, рота сама по себе, непорядок это. Думай не о своей персоне, а о роте. Не отделяйся — не будешь и отдаляться.

Встаю, подхожу к солдатам — они лежат кучно, словно в степи не хватает места. Вижу: Геворк Погосян наматывает портянку неправильно, со складками, при марше натрет ступню. Говорю:

— Перемотай. Чтоб ровненько, гладенько было, иначе обезножешь.

Филипп Головастиков с непокрытой головой, Микола Симоненко пьет из фляги затяжными, как будто без пауз, глотками. Говорю:

— Пилоток не снимать. Может хватить солнечный удар. Пить не торопясь, мелкими глотками, а перед тем надобно прополаскивать рот...

Мои руководящие советы выполняются охотно, незамедлительно: Погосян перематывает портянку, Головастиков натягивает пилотку до ушей, Симоненко полощет рот, неспешно глотает воду и завинчивает фляжку.

— А гимнастерки можно расстегнуть, пусть будет вентиляция. — Я улыбаюсь, бойцы улыбаются. Вот и славно!

Меня тронули за локоть. Я обернулся: посыльный от командира батальона. В первую секунду подмывало отчитать его: положено сказать: «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?», а не лапать офицера, но посыльный — пацан из семнадцатилетних, большеротый, лопоухий, с цыплячьим пушком над верхней губой, в слинявших обмотках, и я удерживаюсь.

— Что тебе?

— Велено вам до комбата подаваться...

Ах ты безусая «гражданка»: велено, подаваться. И вновь удерживаюсь от замечания, хотя, в сущности, и напрасно: молодых положено учить. Однако настрой таков, что замечание предпочтительно попридержать. Настрой мирный, ласковый, благодушный, сколько он продержится? Не гони его преждевременно, он и сам испарится. Идя за посыльным — худенькие плечи, слабая шея, и что они все такие заморыши, эти семнадцатилетние? — гадаю, для чего понадобился комбату. Потерпи пару минут — узнаешь. А заморенные эти мальчики потому, что четыре года си-

дели на скуднейшем пайке, лишь в армии стали наедаться, понимать надо.

В Белоруссии, что ли, видел из теплушки: тощая корова впряжена в плуг, однорукий мужик в солдатской гимнастерке тянет за недоуздок, три женщины в обносках копошатся у плуга. А на Смоленщине и того хлестче: в плуг впряжены женщины, и женщины же направляют его — огороды вскапывают под картошку... Вот как война ударила по народу...

Комбат сказал нам, ротным:

— Принять триста метров правее, там расположится батальон. До полуночи подойдут части первого эшелона, а в два часа ноль-ноль минут марш. Учтите особенности ночного марша. Чтоб никто не отстал, не потерялся... Перед ужином, в семнадцать часов, митинг, посвященный присвоению товарищу Сталину высшего воинского звания — генералиссимуса. Остальное время свободное, личный состав может отдыхать...

Так, ясненько. Предстоит ночной марш. Без солнца, без жары идти легче. Однако спать ночью, к сожалению, тянет зверски. Вздремнуть бы солдатам днем, после обеда, но опять же — на солнцепеке разве отдохнешь как следует?

Что еще скажет капитан? Ничего не говорит. Его обожженное в танковом десанте лицо неподвижно, глаза без ресниц, какие-то оголенные, помаргивают, будто дают знать: всё, мол, расходитесь. И мы расходимся — каждый к своей роте.

Приняли на триста метров правее дороги — те же потрескавшиеся солончаки, перемежаемые ковыльником, никаких ориентиров. Оружие составили в козлы, накинули на козлы шинели и плащ-палатки — хоть малость в тени, хоть башку укроешь. Разделись до нижних рубах и маек — у старшины Колбаковского бесподобная динамовская майка облегает недурственный животик,— разулись, обернули портянки вокруг голенищ; шибануло вонюче, но суховей и солнце моментально высушили портяночки, и благовония не стало. А полынью пахло, хотя и не шибко. Шараф Рахматуллаев пошутил:

— Курорт продолжается. Загорали в вагоне, загораем в степи.

Разговорился молчун. Погоди, будет тебе курорт, когда десятки длиннючих километров лягут под ноги. Ну а покуда, впрочем, лежи отдыхай, набирайся силенок. Рубай на здоровье: обед приближается. Но, честно говоря, жажда убивает аппетит. Когда полевые кухни подвезли пшенный супец и перловую кашку — здрасьте, старые знакомцы! — солдаты без всякого энтузиазма ворочали ложками; кое-кто хлебнул перед едой водички, для аппетиту, однако это мало подействовало. Жара, духота, сухость прямо-таки угнетают...

3

Он подсел ко мне и, шевеля пальцами ног с отросшими ногтями, с неодобрением наблюдая за ними, сказал тенористо, врастяжку:

— Товарищ лейтенант, привыкаете к тутошней температурке?

— Сразу не привыкнешь, старшина.

— Не поверите, товарищ лейтенант, вроде я помолодел, переехамши госграницу. И не предполагал, что так воздействует... Отбарабанил я туточки подходяще, в молодые-то годы... Вообще послужил в армии! Можно сказать, полжизни провел обутым, одетым. Одетый сплю хорошо, фуражку на лицо — и порядок. А разутый, раздетый, бывало, не засыпал... Сомневаетесь? Нет? Ну, действительную я зачинал служить в Забайкалье, края-то сходные с монгольским степом. И там, и здесь тарбаганы, ковыли да солончаки...

Степ — он, а не она, так говорят казаки, и я подумал, что Колбаковский-то со Ставропольщины, вполне возможно, казачьего роду.

Он продолжал:

— В Забайкалье на разъездах — войска, войска. Нынче там Тридцать шестая армия дислоцируется... Так, значится: отслужил я действительную, заарканили на сверхсрочную. Заарканили — для красного словца,— к армейской службе я приклеился. Не отклеишь! Уважаю! В стрелковой дивизии ротным старшиной тянул лямочку, а после в Монголию перевели, в Семнадцатую армию, нынче ее сдвинули вправо... Аккурат под Новый год прибыл в Баян-Тумэнь. Все, как в разлюбезном Забайкалье: землянки, морозы под полсотню, туман-«давун», давит под дых, спасу нет, снега тоже нету и елок праздничных нету, потому как не растут елочки-палочки в степу... Сперва на продскладе кантовался, через полгодика в артполк попал.

«Значит, на продскладе он служил до войны,— подумал я. — А мне кто-то говорил, дескать, всю войну ошивался возле круп да масла. Наврали... Кто? Не помню. Но поверил, теленочек...»

— Служил — не тужил. И тут закипела Великая Отечественная. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Помните ту песню? Пел со всеми, и ажно мороз по коже: туда бы, на запад! Подал рапорт: добровольцем на фронт... Знаете, мало кого посылали из Монголии на фронт, а мою просьбу уважили. Подвезло! Да не совсем...

— Что так? — прервал я.

— Да так... — протянул Колбаковский, которому приятна моя заинтересованность. — Видите ли, товарищ лейтенант, как оно скособочилось-то... До передовой не доехал, по врагу не выстрелил... Довезли нас до Тулы чин чинарем, а туточки налетели стервятники, разбомбили, расстреляли эшелон вдрызг. Мне влепило осколком в плечо, чуток лапы не решился...

— А я и не ведал про ранение. Что ж вы раньше не рассказали?

— Не было повода.

Мне почему-то стало неловко, будто из-за моей именно невнимательности, черствости старшина не поделился прежде. Я пробормотал:

— В госпиталь попали?

— Само собой. Отправили меня от Тулы-оружей-

ницы обратно, на восток. В свердловском госпитале проканителился полтора месяца, а оттудова куда, вы думаете? Снова на фронт? Снова в Монголию! Как поется, судьба играет человеком... Уж как я ни рвался, попал на фронт только в январе сорок пятого. И то целая история...

— Какая? — Интерес у меня повышенный, чрезмерный.

— Такая, товарищ лейтенант... Обскажу, слухайте... В феврале — марте сорок второго в армию зачали призывать девиц, едри твою качалку! И меня угораздило попасть старшиной зенитной батареи, где один женский пол! Комбат мужик да я, остальное бабье, девицы то есть... Ох, и нанервничался с ними! Чуть что — обиды, слезы, слова резкого не скажи, а бранное позабудь, иначе истерика. И жалел их, и злился... А построения! На вечерней поверке все в наличии, на утреннем осмотре кого-то недосчитаешься... Погуливали иные, мужиков-то вкруг в избытке... Кровь-то молодая, горячая, и голодуха не удержит, и старшина...

«Когда кровь горяча, никто не удержит,— подумал я. — По себе сужу».

— Но бог смилостивился,— сказал старшина и раскрыл в улыбке металлические зубы. — Перевели меня в пехоту, к мужикам. Как положено, занятия, караульная служба, рытье укреплений. Всюю Монголию ископали по границе, чтоб японца встренуть, ежли попрет... Вкалывали будь-будь, а харчевались по какой норме? Хоть с осени сорок первого Забайкальский округ превратили во фронт, про то я уже сказывал в эшелоне, питание было тыловое. Триста шестьдесят граммов хлеба в сутки, супец-рататуй—вода, заправленная водичкой, ни картошки, ни капусты не выловишь... И приметьте, товарищ лейтенант: Семнадцатая армия отстреливала для фронта диких коз, были такие охотничьи команды. Не для Забайкальского фронта, он хоть и прозывался фронтом, да не воевал, а для западу. Все, до грамма, на запад, себе ни кусочка, с этим было ой как строго... Едешь, бывало, по степу, а сопка белая, кажется — снег, но то стадо коз, серо-белые козочки, побили их для фронтовиков, побили... Да, сами голодовали нормально. И не всяк выдерживал: пузо сосет, еще и цинга стала цепляться. Всяк рвался на запад, потому патриот, в бой хочет. А также потому: голодуха изводила. Иные рассуждали: в бою убьют, так слава, а тут подохнешь, как собака. Несознательность, конечно. И сбегали некоторые, лезли в эшелоны, что уходили на запад. Их ловили, отправляли в штрафные роты. Штрафников же направляли — куда? — на запад, в бой! И вот эти — кто? — герои пишут опосля в Монголию: как вы там, тарбаганы, все еще копаетесь в земле, строите доты-дзоты, хлебаете баланду, коптите небо, а я уже побывал в боях, судимость снята, представлен к правительственной награде, чего и вам желаю, бывший ваш товарищ по тыловой норме... Однако же терпение у командования лопнуло, и таких патриотов, таких ловкачей зачали отправлять не в штрафные роты, а в Читинскую тюрьму! Был приказ командующего Забайкальским фронтом генерал-полковника Ковалева, нам зачитывали... Про Забайкальский фронт хохмили: тыловой фронт. Доложу вам, товарищ лейтенант: тыловой не значит мирный. Воевать не воевали, но Квантунская армия нависала над нами, как гора: глядишь — обвалится войной, у-у, самураи, банзай, император Хирохито, черти б вас съели! И территорию монгольскую обстреливали ружейно-пулеметным огнем, и у границы крупные части концентрировали, как перед наступлением,— у нас, само собой, боевая тревога, неделями не выходили из траншей. Помотали нас! И мотали тем сильней, чем дальше немец продвигался. Опосля Сталинградского разгрома поутихомирились, но гадости свои продолжали...

— Скоро, товарищ старшина, Забайкальский фронт не будет тыловой,— сказал ефрейтор Свиридов.

Я-то предполагал, солдаты дремлют. А они, видимо, прислушиваются к рассказу Колбаковского. Что же, пусть послушают, это им не бесполезно.

— Очень может быть, хотя оно и не нашего ума дело,— вежливо и строго, как в былые времена, ответил Колбаковский. — Но должен, товарищ Свиридов, сделать тебе внушение: без спросу в разговор старших встревать не положено.

Свиридов крутанул головой; снизу вверх глянул на старшину, промолчал. А Толя Кулагин бойко сказал:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к товарищу старшине? Товарищ старшина, разрешите задать вопрос?

— Задавай,— сказал Колбаковский прежним тоном.

— Вы давеча обещали рассказать целую историю, как на фронт попали, в сорок пятом... Расскажете?

— К тому иду. Экий ты нетерпеливый, товарищ Кулагин.

— Виноват, товарищ старшина! Исправлюсь!

Виноват? Глаза у Кулагина — и карий, и серый — не виноватые, а, пожалуй, с нахалинкой.

Колбаковский пошевелил пальцами и сказал:

— Докладал же: харч не соответствовал, хлеба в обрез, приварку никакого, зелени и в помине... Чтоб нас поддержать, чтоб не кровянились десны, нам выдавали кружку дрожжей да перышко черемши, дикого луку... А десны все одно кровянились, зубы шатались, выпадали. С цингой-то я и угораздился в госпиталь окружной... тьфу ты, фронтовой, в Чите. Во, теперь металл в пасти. — Колбаковский разинул рот передо мной, как перед зубным врачом. — В Чите опять подвезло: из выздоравливающих формировали команду, и на запад! Даешь Берлин! Меня сподобило на Третий Белорусский, с вами, товарищ лейтенант...

«Вместе,— подумал я. — Вместе воевал и буду воевать с Колбаковским и со всеми остальными, а как же мало знаю о них! Нелюбопытство, черствость?»

Логачеев — шепотком:

— У меня на груди шерсть повытерта от бабьих голов.

— Товарищ лейтенант,— сказал Колбаковский, игнорируя реплику Логачеева,— я так же был бы радый, если б наш эшелон прислали в Забайкалье, в Даурский степ, к валу Чингисхана. Ведь я ж и там служил молодым-то!

— А что это за вал Чингисхана? — спросил я, и поднявшиеся головы свидетельствовали: другим тоже интересно.

— В Даурском степу обитал повелитель татаро-монгольский Чингисхан, оттуда зачал совершать свои кровавые набеги. Нынче-то времена изменились, татары теперь другие, и монголы другие... А от тогдашнего царства Чингисханова и остался древний вал. Он земляной, травой порос... По ту сторону вала Чингисхана японцы окопались, по эту — мы, родненькая Тридцать шестая армия, да никакой вал — как поется, где? — в народной песне, что? — не загородит дорогу молодца. Будет приказ, рванем вперед! Правильно говорю?

— Правильно говорите,— ответил я, и мне захотелось назвать старшину по имени-отчеству. Но я их забыл, потому что крайне редко, а может, и никогда не звал его так. Все старшина да старшина, изредка — товарищ старшина. Я уж было и на этот раз едва не произнес «товарищ старшина», однако все-таки припомнил: Кондрат Петрович. Чего ж тут не запомнить? Я сказал:

— Совершенно правильно, Кондрат Петрович.

И Колбаковский Кондрат Петрович разулыбался, как некогда в эшелоне мой ординарец Драчев, когда я его назвал Мишей.

Разговор иссяк, и Кондрат Петрович с еще не совсем закрытыми глазами пустил первую руладу, вторую, и уже знаменитый храп гуляет по биваку.

— Задает старшина храповицкого,— проговорил Головастиков и в зевке клацнул зубами. Глядя на него, зевнул и я. В принципе вздремнуть, точно же, недурно: ночью марш. И солдатики, молодцы, устраиваются поудобнее — для сна, кое-кто свиристит носом. Я сомкнул веки, дышу равномерно, но и намека на сон нету. Наверное, в эшелоне от Инстербурга до Баян-Тумэни отоспался на месяц вперед. И жарко, душно, сохнет в носу и глотке. От пота зудит спина. Почухаться бы о столб, как поросю. Столбов и деревьев не видать, придется потерпеть. И потому раскрой глаза. И смотри на солдат, которые спят и не спят, на выгоревшие от зноя небеса где-то в центре Азии, на дальнюю гряду сопок, на песчаную поземку, сыплющую горстями в глазницы верблюжьего черепа; он у моих ног, а поодаль, на солончаках, вышагивают ведомые монголами три верблюда, величественные, недоступные ничему, кроме смерти. Как сказал бы Кондрат Петрович: поется где? — в песне, что? — и вдаль бредет усталый караван. Была такая шикарная пластиночка до войны, до той, до западной.

Перед митингом солдаты затеяли бритье, подшивали чистые подворотнички. Знатный цирюльник Миша Драчев соскоблил свою щетину, потом взялся скоблить у Логачеева, а за тем — уже целая очередь: знатный брадобрей никому не отказывал в золингеновской бритве. У Кулагина три свежих подворотничка; один пришил себе, остальные отдал Свиридову и Головастикову. Мне по душе солдатская готовность чем-ничем услужить товарищу. Эта взаимопомощь особенно важна в делах серьезных — на марше, тем паче в бою.

Митинг открыл замполит полка. Он распевно зачитал Указ и заявил, рубя воздух ребром ладони:

— Это наша общая законная радость и гордость, что товарищу Сталину присвоили звание Генералиссимуса Советского Союза. Он величайший полководец всех времен и народов. Ура! — Строй отозвался раскатистым «ура». — Товарищи! Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет! С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет...

Было это из песни, замполит выразительно продекламировал. Другие говорили уже не в рифму, что радуются и гордятся и, если товарищ Сталин прикажет, пойдут в бой с любым врагом, кое-кто уточнял — с японскими самураями. Я тоже радовался и гордился и тоже готов был идти в бой.

После митинга ко мне подошел Трушин, стрельнул папироску.

— Народ-то как настроен, а, ротный? Рвутся в наступление!

— Настроение боевое,— сказал я, очень довольный, что Федор, вероятно, не сердится больше на меня за бестактность; конечно, бестактность — приплести еще каких-то генералиссимусов. — Скорей бы уж начиналось, коли суждено...

— Суждено,— сказал Трушин. — Но когда — это прерогатива высшего командования, а мы с тобой мелочь пузатая...

Не было желания спорить по поводу самоуничижительной мелочи пузатой, в эшелоне уже спорили, хватит. Пускай каждый считает по-своему. Я был и остаюсь при своем мнении: не только великие, а все люди — личности.

Он стукнул меня по плечу, я его. Закурили. Зной спадал, и жить можно было. Солнце опускалось на западе за гряду сопок, подпрыгивая, как мяч. По небу косо прочертились солнечные лучи, окрашивая облака в багряное, желтое, лимонное и фиолетовое. Красиво! А главное, жара меркнет, суховей утихает, как будто он решил вернуться восвояси, в пустыню Гоби. Можно не только курить, но и рубать ужин с аппетитом, и дышать в полные легкие, и не потеть так зверски. Жизнь! И вдруг монгольский «степ» как обрызгало сиропом, патокой, медом: заиграл на аккордеоне, запел Егорша Свиридов:

Ты стояла молча ночью на вокзале,
На глазах нависла крупная слеза.
Видно, в путь далекий друга провожали
Черные ресницы, черные глаза...

Так, так. Что-то новенькое, вроде танго́. Запас этой продукции у Свиридова далеко не исчерпан, я его недооценил. Как обычно, Егор пел с придыханием, выкаблучиванием, выдрючиванием, но клянусь: на

глазах у Филиппа Головастикова и впрямь выступили слезы, до того расчувствовался. Вот благодарный слушатель, не то что я.

Но кто же ведал, что это была лебединая песня Егорши Свиридова? Когда ночью начали марш и лошади дернули повозку, запеленутый в футляр старшинский аккордеон упал под колеса следующей подводы. Инкрустированное сокровище по имени «Поэма» приказало долго жить: раздавлено, щепочки-железячки. Узнавши про то, Свиридов сделался сам не свой. Солдаты бранили повозочных, утешали Свиридова. Активней всех — Колбаковский:

— Не переживай, Егор! Я и то не переживаю, а моя ж собственность... Пес с ней, с немецкой «Поемой»! В Харбине, Мукдене заимеем японскую «Поему»! В Токио добудем!

Кондрат Петрович так и произносил: «поема», и это звучало отчего-то чрезвычайно убедительно. Однако Егор Свиридов был безутешен. Да и мне, признаться, было жаль аккордеон. И Свиридова тоже...

И вдруг Филипп Головастиков сказал:

— Я вот не прирезал свою курву... Курва она, больше никто, а знаете, как вспоминал про ее, когда слушал Свиридова? На побывке увидал на ей матерчатые тапочки для покойниц... Ну, такие дешевенькие, белые, так она их красила чернилами. Чтоб не шибко было заметно, что покойницкие. Увидал — и пожалел курву...

М-да, несколько неожиданный монолог...

Марш начался при луне и звездах. Луна была высокая, маленькая, яркая, звезды большие и яркие.

Гобиец-таки не убрался восвояси, хотя и посвежел, песочком мело по следу автомашин, мело-заметало нашу автостраду. Через час тучи закрыли луну и звезды, стало темно, тревожно и таинственно. Нет, не так: темноты не было, ее рвали фары машин, костры биваков, прожектора противовоздушной обороны. И тишины не было: лязг танковых гусениц, рев надрывающихся моторов, повозочный скрип, топот копыт и сапог. Но тревога и таинственность были: все это скопище людей и техники двигалось на юг, к монголо-маньчжурской границе, за которой залегли японские укрепленные районы, неведомые, загадочные, на господствующих высотах, откуда можно стегануть из орудий и пулеметов — косточек не соберешь. Итак, все же будем воевать с Японией? Он еще спрашивает! Теперь-то как дважды два. Ну я уже привык к этой мысли, привыкли и мои солдаты.

Я вел ротную колонну, старшие сержанты-усачи — свои взводы. Перед маршем наказал им: не теряйте контроля над бойцами, выходите из колонны, идите рядом, сзади, чтобы ни одного отставшего: в ночной степи, при таком скоплении войск можно запросто потеряться. И сам останавливался у обочины, пропуская роту, оглядывал ряды и, убедившись, что пока все в порядке, занимал свое место впереди. Идти было нетяжело — зноя нет, дорога ровная, накатанная, и не собьешься: перед глазами комбат на коне, замполит Трушин на своих двоих. А у тех перед глазами командование полка. Вот ежели полковые собьются, все будем плутать.

И внезапно меня поражает мысль: в общем-то удача, что сюда попал и в дальневосточных операциях буду участвовать, после смогу сказать: и на Западе воевал, и на Востоке. Так что есть свои плюсы в любой ситуации, как любит повторять старшина Колбаковский Кондрат Петрович.

Мы твердо ступали по солончаку, и так же ступали по брусчатке Красной площади участники Парада Победы двадцать четвертого июня. Газеты писали: в этот день сводные полки всех фронтов (и нашего Третьего Белорусского!) прошли перед Мавзолеем Ленина, и вот мне кажется: мы сейчас как бы продолжаем тот Парад, что завершился в Москве, мы победно шагаем дальше.

— Стой! Прива-ал! — Команда незычная, но ее слышат и в хвосте колонны. — Прива-ал!

4

Травянистый дворик, подступающий к веранде; в центре его — яблоня, и напáдавшие в траву яблоки лежат по окружности кроны: желтое на зеленом, а с краю дворика — дуб, и желуди шлепаются в траву, как весомые дождевые капли...

Я проснулся, сознавая: то, что увидел во сне, было наяву, в Ростове, до войны, до армии, это наш дворик, наша яблоня и дуб. Здесь, в центре Азии,— ни яблоньки, ни дубочка, ни захудалого кусточка — даже в рифму. Ковыль есть, полынь есть. Ею пахнет еще острей и тревожней, чем тогда, у раскрытой двери в теплушке эшелона, шедшего от Читы на Карымскую, на Борзю, к монгольской границе. Горчит полынь, горчит. На то она и полынь. Каких-нибудь двое суток как отчалили от Читинского вокзала, а будто все в далеком прошлом. Оттого это, наверное, что границу пересекли, Россию покинули. Что-то важное преодолено и в пространстве, и в нас самих. Но как я задремал, когда? Присел, помню. Смотрел на высокое, однако черное небо, слушал солдатский перепляс — так Трушин именует солдатский треп — и бац, клюнул носом. Продрых-то самую малость, потому что речь держал тот же Толя Кулагин:

— Робя, робя, а вы не задумывались? Имеются имена мужские, имена бабские. То ись только мужеские и только бабские. А то ведь имеются, которые носют и мужики, и бабы...

— Например: Клавдия и Клавдий, у меня корешок был — Клавдий. — Это Свиридов, грустный-пре-грустный.

— В десятку вмазал, Егорша! А также: Анастасий — Анастасия, Александр — Александра, Валентин — Валентина, Евгений — Евгения, Марьян — Марьяна...

— Павла и Павел,— еще грустнее произнес Свиридов.

— Опять же в десятку, Егорша! Еще: Федор — Федора... Но отчего так, робя, кто берется объяснить?

Никто не брался: треп загасал, как докуренная до ногтя самокрутка. Табачили, сплевывали, кряхтели, поворачиваясь. Зевали. Да как не зевать, ежель разгар ночи, закон природы — ночью спать полагается! А за то, что приснилось,— спасибо. Сны такие вроде бы приятны. И в то же время растравляют: ушедшее безвозвратно. Раньше (да вовсе недавно!) я торопил жизнь: давай, давай, не задерживай, что там будет завтра, что послезавтра? А не надо бы торопиться: все придет в свой срок. Ныне даже не прочь попридержать дни и часы. Попридержал бы и эту душноватую все-таки (чем больше идем, тем меньше свежести ощущаем) ночку, марш и малый привал, и разглагольствования Толи Кулагина — автоматчика с разноцветными глазами.

— Эх, робя, робя, набаловался я за путь-дорогу, на нарах, на сенце, под крышей... А тута — солончаки. И уж коли не на пуховой перине поспать воину-победителю, а также и освободителю, так хоть на разостланной шинельке! А разостлать не дадут, потому как и спать не дадут, счас подымут...

Кулагин не унимается. В темноте словно вижу перед собой его помятые, увядшие черты — после плена, после львовского лагеря увянешь. Но не унывай, автоматчик Кулагин: поспишь, когда отвоюемся окончательно. И я посплю на перине и под одеялом с пододеяльником, и светильник будет в изголовье. И лекарства на столике — лет через сорок примусь болеть, перед тем как дубаря врезать. На той войне не убили и на этой не убьют. Еще лет сорок проскриплю. А безусые должны иметь в запасе лет пятьдесят, а то и шестьдесят, мне не жалко, я не скупердяй, живите, мальчишки, сколько влезет. Лишь бы вас не скосило в грядущих боях, к которым мы и шагаем с вами этой ночкой.

Ну, марш по монгольской степи — ясненько: трудности будут, и немалые, но стрельбы, слава богу, не предвидится. Стрельба будет на границе и за границей, в приграничье. Каких боев можно ожидать? Недооценивать противника преступно: японцы — стойкие солдаты, технически оснащены, наверняка вдоль границы оборонительные укрепления, которые придется или взламывать, или обходить. Если взламывать, не отрывайся от огневого вала нашей артиллерии (да и авиация обработает перед наступлением), не отрывайся от танковой брони (танки непосредственной поддержки — надежные друзья), ослепляй доты, смело врывайся в траншеи и окопы, рукопашный бой не в новинку. Будут ли бои на Хингане? С ротной колокольни не увидишь, хотя и хочешь. Но преодолевать двухтысячной высоты хребет — в новинку. Сам по себе штурм хинганских круч невероятно труден, выложимся до предела. А на Маньчжурской равнине, видимо, новые бои и новые марши. Во всяком случае, проделав марш в Монголии, мои солдаты окажутся более подготовленными к маршу в Маньчжурии. Будут ли уличные бои? А почему бы и нет? Тут нам здорово пригодится опыт боев в Борисове, Смоленске, Орше, Минске, Алитусе и особенно в Кенигсберге. Главное, это схватки за дом и в самом доме, когда из-за укрытия метаешь гранату, строчишь из автомата и — бросок вперед, на лестничную площадку, на следующий этаж. И не забывай страховать друг друга! Не то всадят очередь в спину! За ветеранов я спокоен, а вот молодежь не обстреляна...

Сколько же сейчас времени? Чиркаю спичкой: четыре. Господи ты боже мой, дрыхнуть бы под стук вагонных колес! Некогда часики были светящиеся, но теперь стрелки отчего-то перестали светиться, и приходится, если темно, зажигать спичку либо фонарик. С часиками — эпопея. С тех пор как в эшелоне, во время омской баньки, у меня увели трофейные швейцарские — подношение Миши Драчева, я как-то обходился без часов, не очень затрудняясь их отсутствием. Но где-то около Карымской ко мне придвинулся Филипп Головастиков и снял с запястья свои часы — трофейные, не швейцарские, а французские, старенькие, однако идут. Принялся уговаривать:

— Товарищ лейтенант, не сегодня завтра боевые действия, как же вы без точного времени? «Товарищи офицеры, сверим часы...» А? Прошу: возьмите во временное пользование, кончится регламент — возвернете...

При чем тут «регламент», непонятно, но понятно другое: часы мне действительно нужны, и Головастиков в самый раз предложил свои. Я лишь ради приличия спросил:

— А сам-то как?

— У вас буду справляться!

Так я заделался, хотя бы временным, обладателем новых (точнее, весьма старых, потускневших, побитых, поцарапанных) часов. При этом Головастиков чистосердечно предупредил:

— Товарищ лейтенант, пользуйтесь на здоровье, толечко поправку надоть делать... Часики-то ходют не так чтобы как часы. Ошибаются. Бывает, отстанут. Бывает, убегут. А то и вовсе остановятся!

«Подарочек»,— подумал я.

Возможно, у Головастикова они шли более-менее прилично: законный владелец! У меня же и убегали, и останавливались, но вдобавок демонстрировали скрытое коварство: незаметно постоят-постоят — и пойдут, ты думаешь, все нормально, да не тут-то было! В часиках ковырялись шилом и ножичком Логачеев, Востриков, у которого родной дядя — часовой мастер, и лично старшина Колбаковский. Помогло это, как мертвому березовый веник. Старший сержант комвзвода-2 дал совет:

— Молотком вдарить!

Старший сержант комвзвода-3, столь же белобрысый, усатый и смешливый, как и его коллега, подтвердил:

— Молотком! А еще здоровше — кувалдой!

Вот сейчас часики показывают четыре. А четыре ли? Может, уже и пять? Нет, в пять, наверное, светало бы вовсю. Лето ведь, канун июля. Но сумрак рассеялся без рассвета: разорвались тучи, проглянули звезды и луна. Этак-то веселей шагать.

— Становись! Становись!

Три моих взвода выстраиваются в колонну; на цифре «три» все построено: три отделения — взвод, три взвода — рота, три роты — батальон, три батальона — полк, три полка — дивизия. Моих три взвода, но, когда строй заколыхался, двинулся, забухал сапожищами, мне подумалось: мои и полки, и дивизии, и корпуса, и армии, которые этой ночью идут по степи, десятки тысяч людей. Я один из них, мало что значащий сам по себе, однако вместе со всеми значащий многое. А почему на тройке все построено? Бог троицу любит!

Луна и звезды были блеклыми, предутренними; блекли они и оттого, что под ними, на земле, темноту не переставало полосовать лучами фар и прожекторов; и немолчные стояли лязг — поближе, рокот — подальше, степь будто клокотала танковыми и автомобильными моторами; порой и в небе, в соседстве с луной и звездами, возникал гул — моторы авиационные. И по связи с этим, видимо, мне вспомнилось: кроме лошадей-монголок, теплой одежды, продовольствия на фронт прибыла танковая колонна «Революционная Монголия», созданная на средства трудящихся Монгольской Народной Республики; впоследствии она стала основой 44-й гвардейской танковой бригады, дошедшей до стен Берлина. Летом сорок четвертого года нашей авиации была передана эскадрилья истребителей «Монгольский арат», также построенная на сбережения монгольских тружеников. «Спасибо, братья-монголы!» — говорили мы тогда, и говорю я нынче, вспоминая.

Лязг, рокот и гул не в состоянии заглушить топота пехоты. Я подумал так: бессмертный топот кирзачей, и мне стало весело. Оглянулся: ротная колонна слитной массой за мной; звяканье котелков, кашель, хриплое дыхание. И эти звуки ничто не может заглушить. Посмотрел вперед: комбат на коне, Трушина не видно. Подался, вероятно, в роты. И ко мне, станется, заглянет замполит батальонный, друг ситный Федя Трушин. Давненько мы с ним не чесали языки. Иначе говоря, не решали мировых проблем.

Чем дальше мы уходим на юг (хочется сказать: чем ниже спускаемся на юг, хотя будем подыматься,— там горные отроги), тем ближе тамцак-булакский выступ. Не надо быть выдающимся стратегом, чтобы понять, почему нас направляют туда: этот выступ — как кулак, занесенный над Маньчжурией, с него, с обширного плацдарма, сам бог велел наступать, чтобы окружить, рассечь, разбить Квантунскую армию — и откроется дорога в глубь Маньчжурии, на Чанчунь, Мукден и далее к побережью Ляодунского залива, к Желтому морю. А хотите, можно идти правее, на Бэйпин, то есть Пекин. Не зря японцы в мае тридцать девятого года вознамерились срезать этот выступ и потом захватить всю Монголию, да не выгорело: в конце августа на Халхин-Голе советские и монгольские войска разгромили их наголову. Вот такой экскурс в историю...

Я шел, пыхтел — отвык-таки, видать, за месяц от маршей и бросков,— и в спину дышала моя рота, и словно дыханием этим подталкивала меня, и идти было легче. А чем я ей помогу? Вышел из строя, пропустил взводы — отставших нету, прекрасно, скомандовал: «Ребята, не растягиваться! Воду экономить, не пить даром!» — и вернулся на свое законное местечко впереди колонны. Это помощь? А что обозначает — не пейте даром? Тут зря не пьют, лишь по нужде. Но экономить воду во фляжке, терпеть и перетерпеть жажду можно и нужно. И я подаю пример — не прикасаюсь к фляге. Хотя превосходный этот пример, дающийся мне не без усилий, не очень различим в сумраке.

Нет, пить никак нельзя: когда будет колодец, неизвестно, и будет ли в нем вода, тоже неизвестно. А ведь после короткого отдыха и сна марш продолжим днем, в самый зной.

Ночь, а мы мокрые, как мышь: пот на лбу, стекает по щекам, за ушами, меж лопатками. Иной раз вытрешься рукавом, иной раз плюнешь: надоест бесконечно утираться.

Да, а ротный я отныне законный, стопроцентный. Не врид и не врио. Постоянный, затвержденный приказом по дивизии. Надо же: солдаты спят, а служба идет, штабы скрипят перьями, в дороге реляции сочиняют. Когда подъезжали к монгольской границе, вездесущий замполит Федя Трушин шепнул на ушко: «Петро, с тебя причитается: утвержден ротным!» — «Иди ты!» — «Голову на отсечение: по моим данным, комдив приказик подписал!» Я верил — не верил, но в Баян-Тумэни при выгрузке комбат сказал мне вполне официально: «Лейтенант Глушков, есть на тебя приказ из штадива, из отделения кадров. Поздравляю: законный ротный». Обрадовался? Да. Не очень, правда, остро. Больше бы обрадовался, если б комбат сказал: старшего лейтенанта присвоили, готовь третью звездочку. Засиделся я в девках, то есть в лейтенантах.

Пропуская колонну и покрикивая: «Ребята! Подтянись, растянулись как! Подтянись, подтянись!» — я подумал, что догонять и перегонять роту всякий раз накладно, напрягаешься, да что ж попишешь: из головы колонны людей не увидишь, особливо спиной. Пока отстающих нет, хромающих тоже. Если что, товарищи помогут, возьмут часть груза себе, а уж ежели совсем худо кому будет, посажу на повозку; с повозками идет старшина Колбаковский: не доверяет ездовым, еще перепутают скатки, да и вообще чтоб не спер кто из соседних рот. («Старшинские повадки мне знакомые: как недостача, так организуют на стороне, публика дошлая...»)

Как бы гляжу на себя сбоку: и лейтенант Глушков утратил стройность, сутулится, ступает отяжеленно, гребя песок носками. Гимнастерка под мышками и на спине пропотела, из-под пилотки (фуражечку с лакированным козыречком упрятал до поры до времени в сидор) стекают капли пота. Сердце бухает, коленки расслабленно дрожат, присесть либо прилечь влечет неодолимо. Одолимо, разумеется, и усталость давит, гнет к земле. Невольная думка: «Привальчик бы!» Командир полка проявил чуткость к моим и нашим мыслям, и по колоннам прокатилось:

— Прива-ал! Прива-ал!

Желанная команда! Все поплюхались мешками прямо у дороги. Разговоров не слыхать, мало кто курит. Лежать — блаженство. Земля прохладная и подрагивает от танковой поступи. Лязг, рокот и гул. Но сквозь них пробивается свист ветра — будто тарбаганий свист; мы этих зверьков видели днем: любопытничая, стоят у норок, как столбики, и чуть что — прячутся мгновенно. Днем увидим тарбаганов, и днем будет пекло. Сколько еще минут привала, вот-вот скомандуют вставать и строиться? Оттянуть бы эту команду! Таким чередованием часов изнурительной ходьбы и минут блаженного отдыха и будут ближайшие несколько суток. Чую: дадутся нам эти сутки...

— Вста-ать! Стройся!

Команда перекатами идет от головы полковой колонны, доходит до меня — я кричу: «Первая рота, становись!» Своим подчиненным кричат командиры взводов и отделений, затем команда катится дальше, в другие батальоны и роты, до хвоста колонны. В этот момент, когда командиры батальонов, рот, взводов, отделений дважды, а то и трижды подают одну и ту же команду, в подразделениях гвалт, как на персидском базаре. Но встали, построились, и гвалт исчез, будто вода в песке. Вода и песок! Ее здесь скудно, его — изобильно. Ее нам будет не хватать, его — сверх нормы...

Колонна вытягивается, колышется, ползет — все быстрей, входя в темп. Сумрак рвется, истаивает. Желтеет край неба. Луна и звезды гаснут. Сперва кажется: вечер. Но небо желтеет сильней, свет становится ярче, хотя само солнце еще скрыто грядой сопок на востоке. И вот уже вовсю светло, и я уже вижу, оборотившись: лица у моих солдатиков осунувшиеся, серые, землистые. Как и у меня, очевидно. Марш и бессонная ночь не красят.

Ноги топают по спекшейся, затвердевшей или же рассыпчатой песок-земле, и взбитая ими пыль, невидимая ночью, висит в воздухе, поскрипывает на зубах, пудрит лицо, руки, одежду. Больше всего меня беспокоит, что пыль покрывает оружие: от нее не укроешься, не попортила бы автоматы, винтовки, пулеметы. Без оружия мы никто. Песчаная пыль, вероятно, опасна и для танковых и автомобильных двигателей, и для пушек, и для минометов. А для наших легких песчаная пыль — что горный кислород, кисловодский либо крымский. Причем уточню: танки и автомашины вздымают пылищу еще похлестче, чем матушка-пехота. И обгоняет с буксованием, с воем и ревом эта чудо-техника, а матушка-пехота, она же царица полей, долго потом отчихивается, вдохнувши отработанных газов вперемешку с едучей пылищей.

Прошли мимо шахтного колодца со свежим срубом, у которого выставлена внушительная комендантская охрана, облизнулись: вода в колодце выкачана, наберется только четыре часа спустя, а была бы — все одно ни капли нам не выдали б. По маршруту водой нас будут з а п р а в л я т ь из следующего колодца. Если не собьемся с маршрута, не примемся плутать в монгольской степи. Без ориентиров и, в сущности, без дорог — это не мудрено. Дрова наши кухни везут с собой, иначе не на чем сготовить еду: ни палочки, ни щепочки; да и воду кухни везут с собой, иначе и чаю не вскипятишь.

Был марш осенью сорок третьего, за Смоленском: сплошные дожди, тягучие, холодные, поля и леса мокли, озера и реки рябились от дождинок, как от осколков, все хлюпало, чавкало, пропитывалось влагой. А вода нам не нужна была, да и дровишек хватало. Вообще же озер, рек и прудов на Смоленщине, в Белоруссии, Литве, Польше ого-го сколько! И деревьев — мильоны: береза, осина, сосна, ель, дуб, ольха. И дороги там были, хоть и не столь шикарные, как в Восточной Пруссии.

Остановились на отдых, который включал в себя завтрак, сон и туалет — на все про все четыре часа. А там снова шагай. Какое ж это наслаждение — упасть наземь и не шевелиться. Но шевелиться пришлось: повара подвезли завтрак. Забренчали котелки, к полевой кухне подстраивалась очередь, среди передовиков — мой ординарец Драчев, жестикулирует, что-то объясняет не слушающим его поварам, в руке по котелку — трофейные, с крышечкой, вот когда эти крышечки пригодились; в отечественные, круглые и открытые, песок сыпал беспрепятственно, и солдаты прикрывали пшенную кашу пилоткой, газетой, полевой сумкой, а то и просто ладонью.

За пшенной кашей — чаепитие. Надувались почти досыта, кой-кто — из ветеранов, из многомудрых — пополнил и фляги. Я предпочел бы сперва испить чаю, а затем уж за пшенку — не лезла посуху, вынужден был отхлебнуть из фляжки, промочить глотку. Ел, и наваливалась сонливость: в зевке хряскал челюстями, глаза слезились, слипались, я их тер, чтобы не задремать ненароком. Да и жара, набиравшая ярую, бесшабашную дурь, размаривала.

Не столь давно я дурел и от молодости, и от сознания, что уцелел в четырехлетней войне,— теперь только от жары. Взрослеть начал? Пора бы. Двадцатичетырехлетний обалдуй, или, как говаривал старшина Колбаковский, ветродуй. Ветродуй не ветродуй, но пора мужать. Духовно, нравственно. В гражданке это потребно не меньше, чем в армии. А может, и больше.

Солдаты еще чаевничали, а я с санинструктором — вислоусым и вислоухим, добродушным и тщедушным, каким-то скособоченным дядькой, будто санитарная сумка перекосила его, перевесив в свою сторону,— обошел роту. Санинструктор и я осматривали натруженные солдатские ноги, неразувшихся заставляли разуться. Не утверждаю, что запашок был излишне приятен, однако прятать нос в батистовый платочек, обрызганный духами «Москва», у меня не было возможности. Потертостей, к счастью, не обнаружилось, исключая два случая, незначительных — с Нестеровым и Погосяном. Нестеров меня не удивил: юнец, службы по-настоящему не нюхал. Но Погосян! Вояка, фронтовик, а портянки замотал

кое-как, небрежно. Тем более я уже ему выговаривал... Пожурив солдат, показал им, как правильно обматывать портянкой ступню. Геворк самолюбиво пыхтел, но кивал. Вадик Нестеров кивал еще благодарней. Лучше бы обращались с портянками как положено. Пустяк, а охромеешь — и выйдешь из строя. Наберется таких, и рота снизит боеспособность. Мы со скособоченным санинструктором переходили от бойца к бойцу, и те, которых миновали, тут же укладывались и заводили храпака. Я сказал санинструктору:

— Отдыхай, свободен.

Я еще не улегся, когда увидел: ко мне направляется Трушин. Обрадовался этому так, будто сто лет не общался с ним. Трушин подошел, содрал с роскошного чуба пилотку, выбил ее о колено, вновь водрузил.

— Законный ротный, примешь под свое крыло? Посплю в твоей роте.

— Милости просим,— сказал я и не успел ничего добавить, как спавший вроде бы мертвецким сном Миша Драчев вскочил, уступая место возле меня.

— А ты куда? — спросил Трушин.

— Найдем, товарищ гвардии старший лейтенант. Ординарцу завсегда почет и уважение,— осклабился Драчев.

— Ну, валяй,— сказал Трушин. — Раз тебе везде почет. Мне бы такую должность...

Закурили. Дымок лениво струился в горячем воздухе, во рту горчило. Курить предпочтительней по холодку! Да где ж его взять, тот холодок?

Трушин закинул левую руку под затылок, проговорил задумчиво:

— Кабы знал ты, Петро, кабы ведал: до чего ж не тянет на эту новую войну!

Я аж на локтях привстал: выдает замполит, ортодокс! Ну, со мной он подчас откровенничает, все ж таки давние друзья-приятели. Я сказал:

— И меня не тянет. Но воевать-то надо!

— Надо! — с нажимом сказал Трушин. — И бойцы это понимают, и все мы. Война неизбежна. Неизбежны и потери. О них-то и думаю...

«И я думал»,— хотелось признаться, однако не признался.

— Ты, Петро, взвесь: прорывать долговременную оборону не пустой звук. Квантунская армия — противник не картонный. Поляжет кое-кто из нас. Историческая правда за нами, война эта справедлива, а жертвы наши никогда не приму за справедливость. Не смирюсь с ними! Конечно, смерть от жизни неотделима. Но должно быть естественно: пожил свое — ложись помирай. А когда насильно лишают жизни, да еще в молодом возрасте, где ж здесь справедливость? Но и заживаться... Был у меня дед, по отцу. До восьмидесяти доскрипел — полуглухой, полуслепой, из ума выжил, несет околесицу, под себя опорожняется... Что за жизнь? Но сердце, легкие, желудок — как у молодого, близкой смерти не предвидится. И живет так, себе и близким в тягость... Как-то, в минуту просветления, говорит своей бабке: «Анюта, заведи меня в сарай, тюкни поленом по затылку, тебя и себя освобожу» — и плачет. И она, понятно, заливается... Вывод: вовремя отдать концы — тоже надо уметь...

Я подивился повороту в мыслях Трушина и тоже не ударил в грязь лицом:

— Вообще проблема жизни и смерти, проблема вечного обновления исключительно интересна с философской точки зрения. Ведь живое существо, появляясь на свет, уже несет в себе зародыш грядущей смерти: рождается, чтобы умереть! Но вечно зелено древо жизни. Материя бессмертна. Как соотнести жизнь и смерть? Как оценить их взаимосвязь и взаимовлияние? А как ты оцениваешь, Федор?

— По-марксистски...

— А конкретнее?

И тут вместо слов изо рта Трушина вылетел тихий, однако внятный храп. «Умаялся. Спи, марксист. Все мы марксисты»,— сказал я мысленно Федору и свернулся калачиком. Уснул сразу и сразу увидел множество лиц, знакомых и незнакомых, одни из них не пропадали из поля зрения, другие заменялись новыми. И, не пробуждаясь, в беспокойном, неглубоком сне, я все пытался определить, кто же из них живой, кто мертвый.

5

Малиновский

Он опустился на диван-кровать, и купе огласилось жалобным пружинным пением. Подумал: грузнеет. Эдак догонит Федора Ивановича Толбухина, бывшего соседа по фронтам: маршал Толбухин командовал Третьим Украинским, он — Вторым. Где ты, Второй? В прошлом. Да, но полнота у Федора Ивановича рыхлая, болезненная, а у него — здоровая, крепкая. Жесткая полнота? В этом они и характерами разнятся: Толбухин мягок, он жёсток.

В чем они схожи с Федором Ивановичем Толбухиным — оба некогда подвизались в штабах, и с тех пор штабная закваска давала о себе знать: разработку фронтовых операций в немалой степени брали на себя, большинство документов писали собственноручно, у других командующих этим занимались начальники штабов. Да, в чем-то схожи, в чем-то различны; да и с другими маршалами он, естественно, в чем-то схож и в чем-то от них отличен.

Поняв, что невольно, будто беспричинно сравнивает себя с другими, Родион Яковлевич с неудовольствием покрутил головой, провел рукой по жестким, зачесанным назад волосам, поглядел в зеркальце над диваном: нет, он еще не стар. Еще повоюет, еще покажет, на что способен Маршал Советского Союза Малиновский.

Малиновский был в купе один. У него выпадали минуты, когда остро хотелось побыть без людей, минуты, которые сменялись затем столь же острым желанием видеть перед собой собеседника. Да, он один, но ощущение — будто все его многотысячные войска,

которыми совсем недавно командовал, и новые его многотысячные войска, которыми будет вскоре командовать, находятся где-то за вагонной стеной, рядом с ним катят по рельсам. Это ощущение, по сути, не было странным: Управление Второго Украинского, 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Кравченко и 53-я армия генерал-полковника Манагарова перебрасываются эшелонами из Чехословакии на Дальний Восток, в Забайкалье, туда же пролегла и его путь-дорожка, маршала Малиновского.

Он иногда так себя называл — «маршал Малиновский», потому что был горд и честолюбив, и в этом не было ничего худого, считал: кадровый служака не может не быть честолюбив. Другой разговор, что у военного человека, да еще такого масштаба, честолюбие должно подкрепляться умением воевать, в противном случае — перекос. Он победно командовал Вторым Украинским, победно будет командовать и Забайкальским фронтом. Уверен в этом. А если подобной уверенности в успехе нет, тогда и не садись на фронт!

Малиновский, сощурив и без того узкие глаза, глядел в окно, думал, что этой доброй, ухоженной земле принесли освобождение его армии. А вскоре его армии будут освобождать иные, весьма отдаленные отсюда пределы — вот как бросает воинская судьба. Предстоит война с Японией. Германия повержена, немецкий фашизм раздавлен. Тот самый фашизм, с которым он еще до Великой Отечественной столкнулся. Будто недавно был тридцать шестой год, гражданская война в Испании, военный советник республиканского правительства полковник Малино. Тогда республиканцы сражались не столько против мятежного генерала Франко, но и против германских и итальянских дивизий — против фашизма. И Малиновский вместе с другими советскими военными советниками всеми силами помогал республиканской Испании в этой борьбе. Как и тысячи интернационалистов из разных стран: России, Америки, Франции, Италии, Германии... Та́к вот: фашисты Гитлера и Муссолини душили республиканскую Испанию, немецкие и итальянские коммунисты спасали ее. Это была, пожалуй, первая схватка с международным фашизмом, схватка, предвещавшая большую войну. И она состоялась, большая война. Но в тридцать шестом верилось: республика победит. А победил Франко...

В сложнейшем переплетении сил, в политическом хаосе поварился Малиновский, как и другие советские военные советники. Солдаты, они стали и политиками. И еще одно обстоятельство: помогая республике, они прошли на полях сражений под Мадридом, Гвадалахарой и Уэской неплохую школу. Да, в Испании он, Малиновский, имел псевдоним — Малино, Мерецков — Петрович, Воронов — Вольтер, Батов — Фриц, Родимцев — Павлито и так далее. В Отечественную они стали маршалами да генералами... Но в тридцать девятом пала Испанская республика. Первую схватку фашизм выиграл...

Много воды и не меньше крови утекло с тех пор. Он, полковник, стал маршалом и направляется на новую, тоже, вероятно, немалую, войну. Родион Яковлевич опять подумал о своих будущих войсках, что перебрасываются из Чехословакии и севернее — из-под Кенигсберга, через Польшу и Белоруссию. И вдруг представил себе внутренность эшелонных теплушек: двухъярусные нары с набросанным сеном, топорно сколоченный столик с котелками, зашарканный пол, обтертый спинами стояк с «летучей мышью»; словно уловил дрогнувшими ноздрями: по углам теплушки крутой солдатский запашок. Что ж, некогда езживал он и сам в телячьих вагонах: солдатская доля.

Его долг — воевать там, куда пошлют. Отвоевал на Западе, теперь повоюет на Востоке. Если откровенно, фортуна проявила к нему благосклонность: доверили командовать крупнейшим в предстоящей кампании фронтом. Видимо, потому и вспомнились Толбухин и прочие комфронтами. Велик был выбор у Ставки, а его, Малиновского, не обошли: в мае вызвали в Москву, помянули Забайкальский фронт. А теперь приказом Забайкальский фронт — за ним!

Он честолюбив? Безусловно. Да какой же полководец лишен этого качества? Только ханжа может отрицать его. Честолюбие... Разве это дурно — заботиться о своей чести, беречь ее, как говорят в народе, смолоду? Чехов в некрологе о Пржевальском писал: благородное честолюбие подкрепляется ответственностью за совершаемое тобой... Состояние такое: и легко, радостно оттого, что вновь получил фронт, и тяжело — по той же причине: фронт, огромный фронт ложился на плечи...

Накануне разгрома Германии у него возникло чувство какого-то тревожного ожидания: что он будет дальше делать, после победы над Германией? А сейчас нет-нет да и мелькнет: а что будет делать после победы над Японией? В этой победе, быстрой, полной и окончательной, он не сомневался. Эх, а все-таки не зазорно еще разок доказать, кто ты таков есть! Докажет, докажет, развернется. Тогдашний разговор в Москве был предварительный, нынче же он, маршал Малиновский, и его генералы едут уже по делу...

А еще он едет на парад. Это, конечно, тоже дело — Парад Победы: по Красной площади, перед Мавзолеем, пройдут торжественным маршем сводные полки фронтов, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона. Сводный полк Второго Украинского фронта возглавит, естественно, он. Давненько не маршировал, все больше машинами раскатывал, придется тряхнуть стариной и пропечатать строевым.

И в поезде, и на Киевском вокзале, и в гостинице Родион Яковлевич был сосредоточен и одновременно рассеян. В вагонном коридоре затеялась беседа его генералов — кто будет иметь впоследствии право писать воспоминания о событиях и людях Великой Отечественной. Малиновский подумал: «Я имею право, однако написал бы не мемуары, а роман — о себе под вымышленным именем» — и забыл эту мысль. На перроне вокзала — очередь к газировщице, рядом

девчушка лет шестнадцати уплетала хлеб, запивая его газировкой, улыбаясь своему дружку, он в ковбойке и кепочке, тоже лет шестнадцати. «Колька, ну как тебе студенческий завтрак образца сорок пятого года?» Колька поставил большой палец торчком: «Мирово! Но в сорок шестом будем бифштексы рубать». Малиновский подумал: «Вы оба не попали на войну, точнее под войну, и теперь она уже не раздавит вас» — и забыл эту мысль. В гостинице горничная почтительно поклонилась ему, сгорбленная годами и, вероятно, горем. Малиновский подумал: «Она кого-то потеряла на войне, ныне почти нет семей, где бы не было убитых» — и не забыл эту мысль. Не мог забыть, потому что она цепляла, волочила за собой другие мысли, такие: может быть, ее муж, или сын, или брат погибли на моих фронтах, выполняя мою волю в наступлении или обороне, веря, что мои приказы ведут его к победе, славе, жизни; победа и слава — за нами, но жизнь — без него; а вот маршал Малиновский живет и готовится снова воевать; маршал Малиновский, воюй же так, чтобы как можно меньше пало твоих солдат на поле боя...

В кабинете Василевского шелестели вентиляторы, но было душновато. Не мудрено: июнь, пéкло, воздух спертый, размягченный асфальт, будто снег, сохраняет отпечатки обуви.

Приспущенные шторы во все окно, кремовые, как в поезде, ловили в складки яркое солнце, за шторами, за окнами шумел-гудел великий город, в который так любил приезжать Родион Яковлевич и в котором мечтал когда-нибудь осесть навсегда. А сейчас у него в Москве как бы пересадка — с войны на войну.

Александр Михайлович Василевский размеренно, спокойно, интеллигентно, по-профессорски говорил:

— Несколько слов предыстории, я бы сказал, политической предыстории... Советское правительство сознает всю важность ликвидации очага войны на Дальнем Востоке, упрочения наших границ и видит свой долг в том, чтобы помочь народам Восточной и Юго-Восточной Азии в освободительной борьбе против японского ига. Мы верны союзническим обязательствам. Еще на Тегеранской конференции товарищ Сталин дал Рузвельту и Черчиллю принципиальное согласие на помощь в войне с Японией. На Ялтинской конференции оно было конкретизировано, и ровно через три месяца после девятого мая, следовательно, девятого августа, Советский Союз вступит в войну. Это союзники тянули с открытием второго фронта в Европе два года, мы начнем боевые действия против Квантунской армии, как записано в Ялте.

Василевский, слегка сутулясь — отчасти возраст, все-таки пятьдесят, отчасти следствие многолетней штабной, сидячей работы,— то останавливался у письменного стола, то подходил к карте; в тишине поскрипывали его сапоги, шум за окнами будто исчез — настолько все были поглощены тем, чтó он говорил. А он говорил далее — в голосе пробилась командирская хрипотца:

— Генштабисты первоначальные расчеты сосредоточения наших войск на Дальнем Востоке сделали еще осенью сорок четвертого года. Тогда же прикинули размеры необходимых материальных ресурсов. Но до Ялтинской конференции, сами понимаете, никакой детализации плана войны против империалистической Японии не проводилось. А после Ялты машина заработала. — Василевский скупо, понуждая себя, улыбнулся. — Хочу, товарищи, подчеркнуть: в стратегическом отношении Маньчжурская операция вряд ли имеет равных себе в военной истории...

Малиновский внутренне напряжен, но в спинку стула вжался прочно, устойчиво, на массивном лице не дрогнет ни один мускул.

— Против Квантунской армии мы развертываем три фронта: Первый Дальневосточный под командованием маршала Мерецкова, Второй Дальневосточный под командованием генерала армии Пуркаева и Забайкальский под командованием маршала Малиновского.

Указка Василевского скользнула по карте Северо-Восточного Китая. Карта крупная, все видно: на востоке, от Японского моря до станции Губерево,— исходные рубежи Первого Дальневосточного фронта, нацеленного на Муданьцзян, Гирин; севернее и северо-западнее — рубежи Второго Дальневосточного фронта, его основные удары направлены вдоль северного берега Сунгари на Харбин; на западе — рубежи Забайкальского фронта, главные его силы должны сосредоточиться на тамцак-булакском выступе, откуда и наносится удар в общем направлении на Чанчунь, Мукден.

Малиновский не пропустил ни слова из того, что говорилось о дальневосточных фронтах, но с удвоенной обостренностью слушал касающееся его, Забайкальского, фронта. Василевский сказал:

— На правом фланге Забайкальского фронта будет наступать конно-механизированная группа советско-монгольских войск под командованием генерал-полковника Плиева... Его заместителем по монгольским войскам назначен генерал-лейтенант Лхагвасурэн, а политическое руководство ими возложено на генерал-лейтенанта Цеденбала, Генсека ЦК Монгольской народно-революционной партии.

Родион Яковлевич искоса взглянул на Плиева — тот буквально впился в карту — и тоже вновь проследил за указкой. Вот районы сосредоточения конно-механизированной группы — юго-западнее главных сил Забайкальского фронта. Красные стрелы ударов КМГ пропарывали пустыню и вонзались в города Долоннор и Калган. Что за противник перед Плиевым? Внутри синего овала надпись: «До шести кавалерийских дивизий и трех пехотных бригад войск Внутренней Монголии князя Дэ Вана и императора Маньчжурии Пу И». В оперативной глубине тоже синим цветом отмечались японские соединения, и Малиновский подумал: «Эти-то японские соединения и представляют наибольшую опасность для моего правого фланга. Перед Плиевым серьезная задача...»

Прокашлявшись скрипуче — будто проскрипели его

сапоги,— Василевский опустил указку, и она возникла у плеча, как штык:

— Товарищи, общая протяженность всех трех фронтов — более пяти тысяч километров...

Цепкая на цифры память Малиновского сработала мгновенно: общая протяженность всех европейских фронтов второй мировой войны — советско-германского, западного и итальянского — не превышала, скажем, в январе сорок пятого года трех с половиной тысяч километров!

— Задача фронтов по глубине — шестьсот—восемьсот километров. Для достижения целей операции — окружение, расчленение и полный разгром всех сил Квантунской армии — отводится крайне ограниченное время: не более двадцати — двадцати трех суток...

Малиновский воскликнул:

— Вот это размах! Современные Канны...

— Пожалуй, пограндиознее, Родион Яковлевич,— деликатно уточнил Василевский. — Даже на советско-германском фронте не было ничего подобного... Предстоит разбить войска четырех японских фронтов и одной отдельной армии, а также армию Маньчжоу-Го, войска правителя Внутренней Монголии Дэ Вана и Суйюаньскую армейскую группу...

В иных бы обстоятельствах, с иным поводом свою реплику Малиновский бы посчитал непростительной невыдержанностью, но сейчас понимал: она извинительна, и не только извинительна — она необходима, ибо высветлила: Маньчжурская операция явится непревзойденной, войдет в историю. И его предназначение — содействовать всем, на что способен, ее успеху! И чем больше он слушал Александра Михайловича Василевского, тем сильнее росло ощущение военно-исторической значимости предстоящего...

— Еще несколько цифр, товарищи,— говорил Василевский. — К августу на Дальнем Востоке должно быть сосредоточено одиннадцать общевойсковых армий и одна танковая, которая будет действовать в составе Забайкальского фронта... В этой группировке — более полутора миллиона человек. Почти тридцать тысяч орудий и минометов, более пяти тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, более пяти тысяч боевых самолетов! Разумеется, сюда приплюсованы и силы Военно-Морского Флота. Результат переброски: численность советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье возрастет вдвое. Цифры я, разумеется, округляю... Но суть не в одной численности. Суть и в том, что при относительно незначительном превосходстве в количестве людей советские войска значительно превзойдут противника в боевой технике, и это явится важным условием быстротечного прорыва японских пограничных укреплений и стремительного наступления советских войск в глубь Маньчжурии...

Опять подмывало высказаться вслух, но Малиновский этого не сделал, лишь подумал: «Во всем размах! И основной удар — моего фронта!» Взамен Малиновского высказался Кирилл Афанасьевич Мерецков — с осторожной шутливостью:

— Великое переселение народов...

— Поистине великое,— отозвался на шутку Василевский, несколько снимая общее напряжение. — Вот вам еще цифры, вникните в них. В течение мая — июля в поездах, под погрузкой и разгрузкой, на маршах в районы развертывания будет находиться до миллиона человек, будут перевезены и выгружены десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, продовольствия. За эти три месяца на Дальний Восток и в Забайкалье поступит с запада, с расстояния от девяти до двенадцати тысяч километров, приблизительно сто тридцать шесть тысяч железнодорожных вагонов с войсками и грузами. И такого не бывало в истории войн...

«А разве такое бывало — подобный замысел? — подумал Малиновский. — Замысел-то каков! План-то каков!»

Как военачальник, Родион Яковлевич отдавал должное тем, кто разработал этот план поистине молниеносного разгрома противостоящего врага. Итак, наносятся два основных встречных удара: с восточного выступа Монгольской Народной Республики силами четырех общевойсковых, одной танковой армий и конно-механизированной группы — это Забайкальский фронт, другой удар — со стороны Приморья силами трех общевойсковых армий и механизированного корпуса — это Первый Дальневосточный. Наступление двух этих фронтов, поддержанное войсками Второго Дальневосточного и Монгольской народно-революционной армии, обеспечивает окружение, расчленение и разгром в сжатые сроки главных сил Квантунской армии на огромнейшей территории. Вот котел так котел! Соединившись в районе Чанчунь, Гирин, войска Забайкальского и Первого Дальневосточного фронтов в дальнейшем резко меняют направление действий и развивают стремительное наступление на Ляодунский полуостров и Северную Корею, чтобы завершить разгром вражеских войск и освободить эти территории. И плюс к этому операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов — подключится и Тихоокеанский флот, Амурская флотилия тоже будет действовать... Непосредственное руководство моряками возложено Ставкой на Главкома Военно-Морских Сил адмирала флота Кузнецова.

Василевского, командующих фронтами и членов военных советов фронтов принял Сталин. Родион Яковлевич вслед за другими вошел в знакомый кабинет. Ничего в кабинете не изменилось, а вот сам Сталин в чем-то изменился. Внешне: поседел, сутулится, ходит без прежней легкости. Внутренне: будто не столь суров, чаще улыбается, чаще шутит. Или у него просто сегодня доброе расположение духа? Как бы там ни было, Малиновский держался строго, собранно, контролируя себя в самых мелочах — как вошел, как остановился; при встречах или даже при телефонных разговорах с Верховным Главнокомандующим надо быть начеку, надо мгновенно и точно реагировать на вопрос или указание Сталина. Малиновский и в личном общении, и при разговорах по ВЧ

чувствовал, как токи всесильной власти исходят от этого негромкого, сипловатого голоса с характерным акцентом; в той власти — все, включая маршала Малиновского.

Но как ни собран был Родион Яковлевич, как ни нацелен на сугубо деловой, официальный лад, он позволил себе подумать о том, что всю Отечественную, с июня сорок первого, Сталин не сдавал, не старел, а в последнее полугодие войны, когда победа была уже бесспорно близкой, и почему-то особенно после победы в волосы Сталина полезла седина, спина стала горбиться, ноги тяжелеть. Такое примерно было со многими: нервное напряжение военных лет не позволяло расслабляться, напряжение ушло — здоровье отступило перед возрастом, перед пережитым, перед болезнями. Да, после победы начали одолевать болячки...

Когда они переступили порог кабинета, Сталин медлительно вышел на середину комнаты и, молча кивнув, повел рукою по направлению к столу для заседаний: прошу, мол, садиться. Но никто не сел, и Сталин не повторил приглашения. Все остались стоять, Сталин прошелся по кабинету. Спросил:

— Ну, как поживают товарищи маршалы?

Осторожный Мерецков промолчал, только бодро улыбнулся; Пуркаев, блеснув стеклышками пенсне, промолчал, вероятно, оттого, что не был маршалом; ответили двое, почти одновременно. Малиновский сказал:

— Мы в боевой форме, товарищ Сталин.

Василевский сказал:

— Товарищ Сталин, мы готовы выполнить ваши предначертания...

— Ну, предначертания... — Улыбка застряла у Сталина в усах. — Так, указания... Всего лишь указания общего порядка... Не буду вдаваться в детали предстоящего. Товарищ Василевский, вы уже объяснили все, не так ли?

— Так точно, товарищ Сталин!

— Это хорошо, хорошо,— сказал Сталин и умолк. Он походил по ковру от письменного стола к окну, от окна к двери, затем вдоль длинного стола, у которого стояли военачальники; они поворачивали головы вослед ему, видя то рыжеватый ус, помеченную оспой щеку, то грузноватую спину, жесткий, седеющий затылок. Походив, Сталин погрозил кому-то в пространство мундштуком, как пальцем, и сказал:

— Наступает час расплаты... Я человек старшего поколения, сорок лет мы ждали, когда смоют с России это пятно... позор поражения в войне с Японией... Надеюсь, меня не обвинят в шовинизме... — Сталин говорил тихо, растягивая слова и фразы. — У нас к Японии за сорок лет накопились и другие счета... А счета надо оплачивать... Нынешняя война против Японии будет иметь глубокие последствия... Мы не только поможем союзникам, не только поможем порабощенным народам Азии, но и упрочим свои границы, свою безопасность... Угроза немецкого нашествия на Западе устранена. Теперь устраняется угроза японского нашествия на Востоке... Не так ли?

За всех ответил Василевский:

— Так точно, товарищ Сталин!

— У меня, товарищи, созрела идея: обратиться к советскому народу по случаю победы над Японией... Ведь наступит всеобщий мир, товарищи!.. Я уже сейчас думаю над этим обращением... Ну, а вы подведете под него, так сказать, реальную базу...

Сталин улыбнулся— улыбнулись и военачальники. Сталин будто упрятал улыбку в усы — перестали улыбаться и военачальники. Малиновский подумал: в словах, в тоне Верховного — железная уверенность в победном исходе Маньчжурской кампании. Сталин не сомневается в исходе: небывалая мощь стягивается на Дальний Восток, преимущество в технике будет подавляющим, войска опытные, закаленные, и командуют ими испытанные полководцы. Полководцы! И ты персонально отвечаешь за исход, с тебя полный и безоговорочный спрос. И Родион Яковлевич снова ощутил масштабы операции и масштабы своей ответственности. Он вдруг заметил: сутулится. Выпрямился...

Между тем Сталин достал из картонной коробки папиросу и сел во главе длинного стола. Это было непривычно: прежде он неизменно курил трубку, иногда ломая папиросы, крошил из них табак, набивал трубку, но чтоб держать между пальцами дымящуюся папироску... И вот он рядом, близкий и — далекий, недоступный, редко кому подающий руку. Лишь раз Малиновский был свидетелем, как целует Сталин: не в губы, не в щеку, а в плечо, на грузинский манер,— это было с видным западным дипломатом, дружественно настроенным к Советскому Союзу...

Неожиданно Верховный Главнокомандующий заговорил о том, о чем, видимо, сначала не собирался вести речь, ибо все было недавно обговорено у Василевского. Он уточнял сроки передислокации, состав войск, характер наступления всех трех фронтов, легко оперировал датами, цифрами, фамилиями, географическими названиями, и Родион Яковлевич, не обижавшийся на собственную память, подивился исключительной его памятливости. Во время военной части разговора Сталин был серьезен, строг. На его вопросы коротко, но ясно отвечали и Василевский, и командующие фронтами. Когда очередь доходила до Малиновского, он докладывал четко, свободно, однако ценой колоссального внутреннего напряжения, заставлявшего кровь стучать в висках.

В заключение беседы Верховный опять шевельнул в улыбке усами, сказал шутливо:

— Надеюсь, товарищи маршалы поторопятся с подготовкой операции, дабы мне не ударить лицом в грязь перед Трумэном и Черчиллем... Вы воюйте, а товарищ Сталин займется мирными, трудовыми проблемами страны, он уже наполовину штатский...

«А я навечно останусь военным»,— подумал Малиновский, когда все отулыбались, подумал с неугасающей озабоченностью, с жаждой действовать во весь разворот...

И в последующие несколько суток, что отдаляли его от Москвы и близили к Чите, эта озабоченность,

эта тревога не проходили. Специальный скорый поезд, обгоняя воинские эшелоны, пассажирские и товарные составы, шел среди полей и лесов, равнин и гор, нырял в тоннели — тогда в салоне зажигались лампочки, освещая Малиновского и его генералов и делая их чуть моложе, чем они были; выныривал из тоннелей на волю, в дневном свете виделись и седины, и морщины — меты войны, как и раны.

Собравшиеся на перроне Читинского вокзала генералы в белых кителях — солнцепек, жара, асфальт плавится — томились неизвестностью. Стоявший в центре группы, широко расставив ноги, коренастый генерал-полковник — черные усы подчеркивали белоснежность кителя — говорил соседу:

— Ума не приложу, что это за генерал-полковник Морозов? Чем знаменит?

— Я тоже такого не знаю.

— Узнаешь! Мне из Москвы по телефону передали приказ: встретить на вокзале. А затем... затем передать ему командование фронтом.

— М-мда...

— И я буду у него, у этого Морозова, заместителем... Сработаемся ли?

— С начальством надлежит срабатываться! Если что, так убирают подчиненного...

— Это ты верно... Ну да ладно, поглядим на генерала Морозова. Спецпоезд вот-вот подойдет.

Подошел спецпоезд. И у генералов в белых кителях глаза округлились от изумления: из вагона выходил в форме генерал-полковника не кто иной, как Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский! Точно, он! А погоны генерал-полковничьи!

Уже перед легковой машиной, обернувшись к сопровождающим, Малиновский сказал:

— Меня не понизили в звании, и я не отрекся от отцовской фамилии... А если по-серьезному: где возможно, там необходимо всячески соблюдать скрытность прибытия на Дальний Восток и войск, и определенных лиц. В этих целях я пока побуду генерал-полковником Морозовым, маршал Мерецков — генерал-полковником Максимовым, а маршал Василевский — генерал-полковником Васильевым. Так и документы будем подписывать...

— Ясно, товарищ маршал... виноват, товарищ генерал-полковник... проще выразиться: ясно, товарищ командующий! — сказал бывший командующий войсками фронта, ныне заместитель, и нашел в себе силы на юмор: — Генерал-полковник тоже неплохое звание.

— Вполне,— сказал Малиновский; адъютант распахнул дверцу, и Родион Яковлевич опустился на сиденье рядом с шофером. — Поехали!

— На квартиру? — спросил сзади заместитель.

— Сначала в штаб.

Машина поднималась по привокзальной улице. Малиновский всматривался в город — обычный областной центр, ничем не напоминавший прифронтовой город, хотя в нем размещен штаб Забайкальского фронта. До зуда в пальцах захотелось взяться за штабные документы, за карты — это было нетерпеливое желание д е л а, такое желание бывает у каждого человека, любящего и умеющего вершить труд.

Одним из первых этих д е л был визит в Улан-Батор. Душным июльским вечером с Читинского аэродрома поднялся самолет, развернулся над городом, набрал высоту. В соседних креслах — маршал Малиновский и генерал Плиев. Малиновский, ворочаясь, вдавливаясь в кресло, говорил:

— До Улан-Батора долетим за час. Увидимся с Цеденбалом... Какой же он все-таки молодой! Двадцать девять лет всего!

— С Юмжагийном Цеденбалом я не раз встречался, когда служил в Монголии советником,— вставил Плиев.

— Тем лучше! Не мне вам говорить, а все-таки скажу: надо, чтобы монгольские товарищи постоянно чувствовали в нас, советских военных, своих душевных, искренних друзей. От вас как командующего группой многое будет зависеть. Крепкая дружба, согласованность, взаимопонимание между нами и монгольскими товарищами на всех, скажем так, этажах, от командующего до бойца, облегчат вашу работу. И сцементируют конно-механизированную группу...

— Я понимаю, товарищ командующий,— ответил Плиев. — Монголы говорят: «С друзьями ты широк, как степь, без друзей узок, как ладонь».

— Хорошо говорят, Исса Александрович!

На Улан-Баторском аэродроме вышедших из самолета Малиновского и Плиева встретили маршал Чойбалсан, генералы Цеденбал, Лхагвасурэн, другие военные; в первый момент все они показались Малиновскому на одно лицо с той лишь разницей, что кто-то постарше, кто-то помоложе. Цеденбал был самый молодой, несомненно.

Потом Малиновского и Плиева подвели к группе монгольских генералов и полковников, стоявших чуть поодаль от высшего руководства. Плиев воскликнул:

— По крайней мере с тремя я уже знаком!

Два генерал-майора и полковник радостно закивали, пожимая Плиеву руку. Тот сказал:

— Они учились в Объединенном военном училище в бытность мою там инструктором. Я их багши, что значит учитель. Полковник Цырендорж был даже моим любимцем, каюсь в давнем грехе!

Все засмеялись, а Лхагвасурэн улыбнулся:

— Ну что ж, багши Исса Александрович, теперь ваши любимчики командуют дивизиями и бригадами, которые входят в конно-механизированную группу!

— Я рад,— тихо сказал Плиев.

На машинах они проехали в центр столицы, ко двору, обсаженному тополями. Слева во дворе был дом европейского типа, справа — юрта.

Чойбалсан сказал:

— Мы, кочевники, по старой памяти иногда проводим совещания в этой юрте. Но сегодня будем совещаться в русском доме, как мы его называем...

В «русском доме» вокруг застланного сукном стола расселись Малиновский, Плиев — на кителе от-

ливала золотом Звезда Героя Советского Союза, Нойбалсан, Цеденбал, Лхагвасурэн; перед каждым топографическая карта, раскрытый блокнот, карандаши.

Малиновский, не вставая, сказал:

— Позвольте, товарищи, доложить о том, как и когда войска выдвигаются к границе с Маньчжурией... По соображениям секретности записей вести не будем,— добавил он, откашлявшись и косясь на раскрытые блокноты и заточенные карандаши.

И покуда он откашливался, косился на стол, покуда удобнее усаживался на стуле и вертел головой — воротник кителя был тесноват,— именно в эти секунды в сознании окончательно выкристаллизовалась и д е я. Которая столько вынашивалась! Пустить впереди наступающих войск Забайкальского фронта не пехоту, как это бывало на Западе, а передовые подвижные отряды, в основе которых — танки, у него целая танковая армия. Не вводить ее в прорыв после пехоты, а сразу бросить вперед! Пренебрежение фронтовым опытом? Не пренебрежение — творческое использование с учетом местной специфики. Фронтовой опыт, в частности, учит: избегай шаблона. По данным разведки, на границе у японцев не сплошная оборона, а лишь войска прикрытия, главные же силы дислоцируются по ту сторону Хингана, следовательно, кто первым подойдет к хребту — мы или квантунцы,— тот и захватит горные проходы, не даст другому выйти на оперативный простор. Рискованно пускать танки, по существу, в отрыве от стрелковых дивизий? А что за война без риска? Но и взвешено все. Протаранить танками оборону приграничья, перевалить Большой Хинган и рвануться на Чанчунь, в глубь Маньчжурии! Танковую лавину трудно будет остановить. В общем, эту идею он кладет в основу своего решения на наступление Забайкальского фронта и надеется: Ставка одобрит его. Но это — в свой черед. Сейчас же — о сосредоточении советских и монгольских войск.

6

Мне снилось: я в нижней рубахе и кальсонах, чистых, наглаженных, и Трушин в таком же белье и все другие, кого не узнаю,— идем в исподнем, идем походным строем. Беззвучно, невесомо. Как будто бесплотные. И вне времени, вне пространства. Потом, когда проснулся и с тяжелой, дурной головой зашагал во главе ротной колонны, не покидало неприятное ощущение, оставался какой-то неприятный осадок: неладное нечто, не сулящее добра нечто привиделось во сне. Еще в детстве мама растолковывала: если приснится, что ты в белом,— к болезни. Что ж, выходит, все они заболеют — Глушков, Трушин и прочие? И весьма странно, что приснилось: одетые в белоснежное исподнее, они идут в походном строю. Нехороший все-таки сон...

Но солнце пекло, но жара давила и гнула, но жажда душила — словно чьи-то горячие беспощадные пальцы стискивали горло,— и постепенно сон отходил, меркл, как бы заволакивался степным маревом. Голова была по-прежнему дурная, однако уже не с короткого, неосвежающего спанья, а от жары; мысли, хоть и вялые, тягучие, были уже далеки от приснившегося: что там нереальное чистехонькое, разглаженное бельишко, когда натуральное — вот оно, просолилось, провоняло потищем! Кажется отчего-то, что и солдатские слова солоны от пота, пахнут пóтом.

Я посмотрел на часы. Что за чертовщина! Стрелки показывают одиннадцать, а ведь уже топаем не меньше часа, значит, должно быть что-то около двенадцати: марш начался ровно в одиннадцать. Выходит, стояли? Поднес к уху. Тикают. Или только что затикали, а до этого стояли? Ох, дареные французские! До чего коварные, канальи! Подведут когда-нибудь крепко. Спасибо, подошел Трушин. Я справился у него о времени. Он глянул на свои:

— Двенадцать ноль-ноль.

Не говоря худого слова, я перевел стрелки на своих французских. Зашагали молча, плечом к плечу. Солнце шпарит все круче. Пыль, жажда. Колодцев не видать, но где-то ж они имеются? Пыль залепляет глаза, рот, нос, хотя мы видим, как по-иному идут теперь машины: не растянуты, а близко друг к другу, не в линию, а уступами — так, чтоб едущие на задних машинах не глотали пылюку, поднятую передними. Все это распрекрасно, но мы-то покуда не в кузовах, мы-то на грешной земле, вымериваем ее своими ножками. Скорей бы и нам на колеса, ведь обещали же подбросить на сколько-то километров. Люди идут, понурившись, редко кто разговаривает, говоруны выдохлись. А моторы гудят и ревут неумолчно, земля дрожит от железного топота. Великий покой этой великой полупустыни нарушен. Война не любит, чтоб был покой...

— Раздолбаем Японию — клянусь, настрогаю кучу ребятишек,— сказал вдруг Трушин.

Я посмотрел на него. Что увидел? Да обычного Федю Трушина, лицо как лицо. Шутит, всерьез? Не поймешь. Иногда напускает на себя манеру так вот говорить, что не разберешь: шуткует ли, серьезно ли? Да и к перескокам в разговоре можно бы попривыкнуть: то об одном, а глядь, уже про другое заворачивает. Я и сам, признаться, перескакиваю...

А вот еще лицо, да не как лицо — явно обиженное: нижнюю губу отвесил, скривился, во взоре мировая скорбь. А-а, понятно: сержант Черкасов, командир отделения в третьем взводе. Причина его обиды: не сделали помкомвзвода, другого отделенного утвердили — предложил комвзвода-3. Уважительная причина у Черкасова? Не усмехайся, Глушков: когда тебя не утверждали ротным, ты так же переживал, заспал, что ли, свои обиды? Не заспал, но после понял: не стоит переживать. В гуще солдатских тел раздалось, как вытолкнутое из этой гущи: «Ах ты, дешевка!», и сержант Черкасов, еще более скривившись, сказал с тоскливой строгостью:

— Отставить руготню!

Вот ведь как ранило человека! Казалось бы, что

такое помкомвзвода? Да такой же отделенный, в сущности, права те же самые. А Черкасов переживает, задето самолюбие. Отделенный он нормальный, не хуже и не лучше прочих. Я согласился бы и с его кандидатурой, но взводному видней. Своим взводным, толковым, надежным хлопцам, я доверяю, на офицерских должностях они смотрятся. Ни опытом, ни знаниями не уступают лейтенантам, которых иногда присылали на взводы. С этими лейтенантами беда форменная! Пришлют (старших сержантов, естественно, возвращают на отделения), а вскорости кого ранит или убьет, кто просто заболеет — и старшие сержанты сызнова становятся взводными. Непотопляемые сержанты, а прибывающим лейтенантам, ну, не везло. Короче: так до сих пор старшие сержанты и заправляют у меня взводами, и я ими доволен. А сержант Черкасов в роте после штурма Кенигсберга, точней — после госпиталя. Им я тоже доволен. Только зря переживает: пройдет война, воротится на гражданку, не вечно же сержантом быть. Говорю об этом Трушину. Он отвечает:

— С Черкасовым сложно. У него в Красноярске на вокзале встречка была... нервишки могут и не выдержать.

— Что за встреча?

— Тише ты! Ротный, а не в курсе.

— Расскажи!

— Потом. А к Черкасову будь повнимательней. После Красноярска он сильно переживает...

После Красноярска? Да что ж там была за встреча? А я-то думал: переживает из-за того, что не назначили помощником командира взвода. Хотя, наверное, и это есть.

Вскоре Трушин до конца просветил меня. Мы шли рядом, и, хотя говорить было трудновато, Федор все-таки рассказывал — прямо в ухо. В его изложении это выглядело приблизительно так (некоторые детали я дорисовал в своем богатом воображении).

Красноярск! Владислав Черкасов с дружками на перроне, недалеко от своей теплушки. Побледневший от волнения, он всматривается в разношерстную толпу, ждет кого-то. Дружок спрашивает:

— Телеграммки-то, сержант, вовремя отстукал?

— Из Омска телеграфировал,— рассеянно отвечает Черкасов. — Когда уж стало ясно, что Красноярска не минуем.

— Адреса не напутал?

— Да как же я могу напутать? Не кто-нибудь — мать и невеста...

— Понятно! Тут загвоздка в другом. Точного часа, даже дня прибытия они же не знают, это ж не пассажирский поезд... Смотри, сержант, зорчей!

Тот не отвечает, идет вперед, возвращается, снова спешит куда-то, снова возвращается. Шарит глазами, зачем-то размахивает руками. За спиной — шепоток дружков:

— Надо было пересесть где-нибудь, ну в Новосибирске, на пассажирский, обогнать нас. Выиграл бы времечко, навестил бы своих в домашней обстановке. После бы в Красноярске к нам сел либо опять же догнал на скором. Некоторые военные так проделывают, у которых дом по пути... Головастиков, например...

— Славка себе не позволит. Шибко гордый, просить не будет... Да и лейтенант навряд ли отпустил бы.

— Кому же охота подставлять шею, ежели человек отстанет, а то и затеряется? Некоторые военные, однако, ухитрялись...

И в этот момент Черкасов рванулся вперед, будто его удерживали за плечи, а он вырвался наконец. Он бежал, нелепо размахивая руками, навстречу ему семенила пожилая женщина — не по сезону теплый, суконный жакет,— рядом, поддерживая ее под локоть, высокая, ладная, под стать Черкасову, девушка в босоножках и ситцевом платье. За два шага до Черкасова мать рванулась, опередив девушку, и упала ему на грудь.

— Ну что ты, мама, успокойся! Не плачь так, успокойся, прошу тебя... — И смотрел поверх материного плеча на невесту, которая чуть в сторонке ждала своего череда.

Черкасов вытер рукавом глаза. Еще раз поцеловал мать и невесту, сказал им:

— А это мои фронтовые друзья. — Он называл их поименно, они здоровались за руку с матерью и девушкой, кланялись, чинно отходили, чтобы не мешать. Отходивший последним сказал:

— Со счастливой встречей! Гляди только, Славка, не прозевай отправления...

— Не прозеваю. До отправления, наверное, не меньше часа...

Они еще постояли на перроне, втроем обнявшись, а затем пошли в пристанционный скверик, уселись на скамейку, и Черкасов опять их обнял, а они с двух сторон прильнули к нему: одна по-матерински, вторая по-женски.

— Ты знаешь, Славочка,— говорит девушка,— мы когда с мамой получили телеграммы «Буду проездом», то каждый день приезжали на вокзал. И в ночь приезжали. Дежурили: пока одна на работе, другая на вокзале, встречает эшелоны.

— Да, да! А вчера Ирочка круглые сутки продежурила, я была занята на заводе... А сегодня вместе с ней, и какое счастье — тебя увидели, сынок!

— А вы, я вижу, действительно дружно живете. До моих проводов разлад был...

— Я виновата. Мать — вот и ревновала тебя к твоей девушке. К невесте твоей.

— Война нас сдружила,— говорит Ира. — Четыре года ждали!

— Получила телеграмму,— говорит мать,— и не сразу сообразила, что ты мимо проедешь, хотя в ней и было слово «проездом». Славик едет с войны, демобилизован! А после разобралась, и как обухом по голове...

— Снова на войну? — спрашивает Ира.

— В точности не известно. Но не исключено.

— Да что там, Славочка, не известно, если такая

махина прет на Восток. Для чего? Люди говорят: с Японией будет война.

— Откуда люди знают? — вяло отбивается Черкасов. — Домыслы. Слухи — они и есть слухи.

Он взглядывает на часы. Мать поднимается:

— Пойду мороженого куплю. Я мигом обернусь,— и уходит.

Ира говорит:

— Это она нас вдвоем оставила.

— Спасибо ей!

И они, не стесняясь вокзального многолюдия, целуются. Ира шепчет:

— Наконец-то я с тобой! Чувствую тебя всего! Господи, через полчаса, через четверть часа ты уедешь... Почему? Куда? Я ждала четыре года и не хочу тебя отпускать! Я хочу всегда быть с тобой!

— Мы будем вместе!

— Когда? Еще четыре года ждать?

— Ну что ты... Не может так долго продлиться эта война. Если она будет...

— А то не будет? Не надо обманывать себя!

— Ну, потерпи еще немного, милая...

— Нету моего терпения, Славочка, дорогой! Четыре года без тебя... И зачем я тогда, в сорок первом, согласилась отложить свадьбу... До твоего возвращения! Вот оно, возвращение...

— Мама настояла...

— А нам не надо было слушаться... Да ладно, да пусть без загса стать бы мне твоей... Ребенок был бы у меня. Твой ребенок!

— С ним на руках? Легко ль в военное время, Ирочка?

— Да уж легче, чем без него. Ты как бы со мной был... — И внезапно подается к нему, снова целует, обнимает, шепчет: — Хочешь взять меня?

Он вздыхает:

— Как же я повезу тебя с собой, куда?

— Дурачок, не об этом я...

И Черкасов понял. Покраснел, испуганно оглянулся вокруг. Ира сказала:

— Не пугайся, дурачок. Это я так. Это же невозможно. И когда станет возможно?

Появляется мать с тремя порциями мороженого. Черкасов опять приоткрывает запястье, взглядывает на часовые стрелки...

Вот какое воображение у лейтенанта Глушкова, Петра Васильевича. Черт-те что напридумывает Петр Васильевич. Сочинитель! А может, так оно и было? Или похожее было? Почему бы и нет? Черкасова надо щадить, прав Трушин. Я дремуче не чуток к подчиненным. Как подумал о Черкасове, бревно я бесчувственное, просто-напросто чурбак. Чурбак — потому что своей опрометчивости, невнимательности раньше стыдился больше.

Топай и старайся не отвлекаться. Уж если приспичило умствовать, то думай: как благополучно довести своих солдат и самому дойти до конечного пункта марша? Да ладно, дойдем как-нибудь. Европу прошли, пройдем и Монголию. Ах, Монголия! Раскаленная земля, раскаленное небо. Воздух обжигает легкие. Дышать невмоготу. Металл обжигает пальцы, если невзначай дотронешься до автомата. Кажется: сквозь подошвы песок и галька жгут. И еще кажется: чем дальше пройдешь по этому пеклу, тем скорей доберешься до более прохладных мест. Это вряд ли светит — прохлада, но после марша будет какая-то передышка, клянусь... клянусь здоровьем дочери — так говаривала фрау Гарниц. Как она там, в своей Германии, фрау Гарниц, как там ее Эрна? Опять отвлекаешься? Вот уж поистине отвлекся от реальности. Реальность — это четырехсоткилометровый марш, а немка, с которой любился, и ее мамаша — словно мираж в монгольской степи.

А вот это не мираж: танки, пушки, автомашины, повозки, пехотные колонны. Степь уже пахнет не полынью — бензином и соляркой. Бурая пыль взвешена в воздухе, она покрывает все, что можно покрыть, занавешивает отдаленные голубоватые сопки, а еще подале сквозь пыльную кисею проглядывают синеющие вершины — не Хинган ли? Его предгорья? Таинственное слово — «Хинган». Таинственное и угрожающее. Там все будет решаться...

От воспоминаний отрешиться не могу. Они всплывают со дна памяти и будто клубятся надо мной. Может быть, из-за жажды вспомнилась река, которую переплывал, драпая от немцев. Это был еще сорок первый.

Так вот, на исходе августа, кажется, в какой уже раз попали в окружение. Тыкались туда-сюда, везде немцы. Утром они прижали нас к берегу. До полудня мы отбивались. Но немцы кое-где просочились к реке. Надо было отступать, то есть кидаться в воду и плыть, если умеешь, на ту сторону, а не умеешь — плыви на доске, еще как. Я завернул в плащ-палатку оружие и обмундирование и ступил в холодную воду. Переплыл. А чего же? Это не Дон, это поменьше. Но много наших утонуло — кто не умел плавать, кто от пули или осколка.

Ну, уцелевшие выбрались на восточный берег и побежали к ближайшему лесу. Картина была: по лугу чешут на третьей скорости мужики — кто в подштанниках, в трусах, кто в чем мать родила. В подлеске я начал одеваться, оглядываясь: группа человек в двадцать. Некоторые с переляку или, может, от бесстыдства даже срам свой не прикрывают. И это меня обозлило. Натягивая гимнастерку, гаркнул:

— А ну, все ко мне! Быстрей, быстрей! Слушай мою команду: достать оружие и одеться!

Команду восприняли послушно, кроме одного красавчика; он взбеленился:

— Сержант, прошу не приказывать и не орать! Я старший лейтенант!

Злость совсем захлестнула меня:

— У вас на пузе не написано, что вы лейтенант. Лейтенанты имеют знаки различия. А ну бегом, выполняйте приказ!

В руках у меня очутилась винтовка, и старший лейтенант не стал продолжать дискуссию. Оружие

нашли довольно легко, кругом валялись винтовки. С одеждой — похуже, так и остался кое-кто покуда в подштанниках. Но затем мы набрели на брошенный обоз, ребята оделись в невообразимую рвань (видимо, обмундирование было списанное): голые колени, продранные локти.

7

Машинами автобата мы все-таки попользовались. Правда, немного и не сразу. Уже начали терять надежду... То ли они не освобождались, то ли другой какой стрелковый полк перевозили. Сперва всё ждали — вот-вот нас подбросят, потом стали ворчать, потом смирились. Знать, не судьба. Хотя подвезти малость — с полсотни километров — можно было бы. Нам бы это не помешало никоим образом. Но не выходил номер. Планида не та. Ножками, ножками!

Завидущими глазами провожали мы грузовики, в которых сидела пехота,— бывают же счастливчики! Везет некоторым военным! Эти некоторые военные сверху вниз посматривают на нас, посмеиваются. И вдруг — машины автобата! Нет, есть правда на земле, а на небе бог! Смилостивился! Мы разглядывали полуторки и «студебеккеры» — такие запыленные и такие прекрасные,— потому что они были пустые! Для нас предназначенные! Раздалась команда: «По машинам!»

Ее подхватили с редким единодушием. Солдатики, смакуя, повторяли громко и негромко: «По машинам, по машинам!», кто-то проверещал: «По ко́ням!» — и все с завидной шустростью, мешая друг другу, полезли через борта. Толкаясь, давясь, рассаживались на скамейках, на дне кузова.

Я — как начальство — сидел в кабине. Шофер, узкоглазый, с плоским, приплюснутым носом бурят, крутил баранку, невозмутимо глядел на дорогу. Я тоже глядел в лобовое стекло: степь, степь и дальние отроги. Проселок был забит войсками и машинами.

Нашу колонну остановил регулировщик с красным флажком: пропускали танковую. Тридцатьчетверки одна за другой прогрохотали мимо. Сила, напор, красота! Федя Трушин уверяет, что Т-34 — лучший танк второй мировой войны. Вполне возможно. Говорят, что и штурмовик «Ил» — непревзойденный самолет. Проходят, проходят танки, и гром их неудержим...

Танки прошли, и колонна автобата вновь тронулась. Сквозь ветровое стекло нажаривало солнце, боковые — опущены, в кабине — дуновение сухого, горячего воздуха, будто настоянного на пыльной полыни. Наш «студебеккер» вползал на пологие склоны сопок, спускался в распадки; мягко покачивало, убаюкивало. И я, привалившись к мускулистому, литому плечу шофера, грешным делом начал подремывать. Пробуждался, вскидывался, отклоняясь от чужого плеча, а через минуту снова дрема одолевала.

Но еще десяток километров — и нас высадили. Я пожал шоферу шершавую, обветренную руку и толкнул плечом дверцу, шофер сказал вслед:

— Будь здоров, лейтенант.

Буду. Правда, фамильярничать с офицером ефрейтору негоже. Но ефрейтор — из всемогущего водительского племени, коему многое дозволяется. Не скажу, что солдаты слезали с машин с восторгом, однако и уныния не наблюдалось. Коль высаживают, значит, так надо. Приказы в армии выполняются, а не обсуждаются. Рота, становись! Шагом марш! Все по закону. Провезли нас километров сорок или пятьдесят, один переход. Не так уж плохо, спасибо и за это. Быть может, и еще подвезут. А покамест вновь шагай-вышагивай. Передохнули, идем как положено. Окрест шелестит синий ковыль, сапоги наши стучат. Бессмертный топот кирзачей.

Мы топали, и постепенно те несколько дней марша, что-то около недели, которые лишь предстояли вначале, действительно были прожиты нами. В основном — на ногах, меньше — во сне, на привалах, а то и без привала; иные солдатики засыпали на ходу, падали, пробуждались, снова шагали. А поездка на «студебеккере» вспоминалась как прекрасное и, увы, далекое прошлое.

Да что марш! Ну, намолачивали в сутки километров по тридцать — сорок, а то и более. Ну, натрудили ноги, охромевших подбрасывали до привала на подводах. Ну, воды не хватало, жажда мучила. Ну, терялись некоторые в темени, блукали по степи, потом находили свою колонну. Ну, у кого-то случался тепловой удар, отправляли в санчасть. Что еще? Да вроде ничего, словом, дошли до места. А вот когда дошли — попадали как подрубленные и сутки, наверное, отсыпались, отлеживались, приходили в себя. Просыпались только, чтоб поесть, и снова — храпака, и солнце не помеха. Под вечер очухались, стали оглядываться, где мы и что мы. Я пришел в норму раньше своих солдат — просто обязан был: ротный. И тут за моей персоной явился посыльный, поволок к комбату. Я плелся, стараясь держать осанку, подавляя зевоту. У палатки — в полном сборе батальонное командование и командиры рот, я заявился последним.

— Опаздываешь, Глушков,— сказал комбат; тон ворчливый, а что за настроение — не понять: лицо без ресниц и бровей, стянутое рубцами от ожогов,— как розово-лиловая маска; улыбается ли капитан, хмурится ли — никогда не определишь, прислушивайся лишь к голосу.

— Извиняюсь, товарищ капитан,— сказал я.— Как только пришел посыльный, я сразу сюда... Видимо, он проплутал.

— Ладно тебе оправдываться,— отмахнулся комбат.— Опоздал, так устраивайся побыстрей... Попрошу внимания, товарищи офицеры!

Мы сидели на земле, комбат стоял, возвышаясь над нами своей фигурой-рюмочкой, опираясь на палку. Нам приходилось задирать головы, и это было не очень удобно, уставала шея. Опустить же голову было нельзя, ибо комбат, говоря, искал наши взгляды — он любил смотреть в глаза слушающим. Мы ему внимали, скрывая зевки — недобрали сна, хотя дрыхли ед-

ва ли не сутки. Нет, марш дался не так-то уж легко, чего уж тут бодриться. Но он позади, можно и взбодриться!

Капитан говорил отрывисто, с напором, иногда взмахивал свободной рукой, и на груди звякали ордена и медали.

На фронте с погибших, перед тем как захоронить, снимали правительственные награды. Запомнилось: польский городишко, на улице лежат в ряд и будто по ранжиру пехотинцы, убитые, ротный старшина наклоняется над каждым, отцепляет ордена да медали — в этих местах гимнастерка не так выцвела, как везде.

— Такова задача батальона,— подытожил капитан. — Втемяшилось, товарищи офицеры? Вопросы ко мне есть?

Вопросов к комбату не было, ибо всё, употребляя его любимое словцо, втемяшилось, и нас отпустили с миром. Но перед этим замполит Трушин встал и громогласно объявил:

— Сегодня после ужина общебатальонная беседа. Тема — «Что мы знаем о Монгольской Народной Республике». Проводит старшина товарищ Колбаковский.

— Он не будет проводить,— сказал я Трушину. — Он боится этих публичных бесед, как черт ладана!

— Не волнуйся, ротный,— усмехнулся щербато Трушин. — Я с ним договорился.

Солнце опускалось за западные сопки — оттуда мы приехали в Монгольскую Народную Республику, о которой нас будет просвещать старшина товарищ Колбаковский. Послушаем. Кондрат Петрович имеет что сказать по данному вопросу.

Старшина откровенно дрейфил, в неофициальной, так сказать, обстановке он изъясняется свободно, раскованно и уверенно, но, когда ты стоишь посреди рассевшихся на земле взводов, ловишь на себе десятки оценивающих взглядов, когда замполит, строгий и важный, осознающий всю значимость момента, передает тебе слово и отходит в сторону, а ты остаешься один на один с целым батальоном — тут иной расклад, и бедняга Кондрат Петрович, побледневший, затеребил пуговицу на гимнастерке, без нужды поправил ремень, откашлялся трижды. И трижды открывал и закрывал рот, прежде чем заговорить. Но заговорил, и голос его был хриплым, напряженным:

— Товарищи солдаты и сержанты... а также, извините, товарищи офицеры! На сегодняшний день мне... это самое... поручено провесть беседу... То есть побеседовать про Монгольскую Народную Республику, где мы с вами в данный момент находимся, товарищи офицеры... а также, извините, товарищи солдаты и сержанты...

Я сидел, по-турецки скрестив ноги, и мысленно подбадривал оратора: «Давай, давай, не робей, старшина» — несколько покровительственно, потому что в центре батальонного круга был он, а не я.

Пока что он тянет волынку:

— Побеседовать оно, конечно, можно... Коль командование доверило... Как говорится, постараюсь оправдать доверие, хоть я специально и не готовился...

Лукавит Колбаковский: держит перед собой бумажку, на которой записан план беседы, сделаны какие-то выписки, и плюс книжечку в желтом переплете. Ближе к делу, Кондрат Петрович! Наконец, спотыкаясь, он начал читать по книжечке — про расположение Монгольской Народной Республики, ее границы и размеры, население, политическую структуру. Облизал пересохшие губы и прочитал далее о полезных ископаемых, о промышленности, о культуре. Может, еще про что-нибудь прочел бы, да сумерки сгустились, в книжечке ничего не разобрать, а о своих личных впечатлениях старшина почему-то не говорил.

Замполит Трушин спросил: «Товарищи, вопросы есть?» Несколько голосов бодро проорало: «Нету!» Колбаковский с облегчением выдохнул, вытер пот со лба. Трушин сказал: «Тогда поблагодарим товарища Колбаковского»,— и раздались аплодисменты, которые и не снились певцу-солисту ефрейтору Егорше Свиридову. А вообще-то действительно полезно узнать подробней о Монголии, хотя это была, собственно, и не беседа, а громкая читка. Наш ведь союзник и друг, вторая после нас социалистическая страна...

Роты расходились по своим местам. До построения солдаты торопливо дымили махорочными самокрутками и папиросами-патрончиками. Ветерок посвистывал, как тарбаган. Сухо, словно царапаясь былинкой о былинку, шуршали травы. Взошедшая луна была разделена пополам тучевой полоской, быстро сужаясь, полоска стала похожа на тонкий кавказский ремешок, будто луна подпоясана на манер ростовских армян — они любили такие ремешки да еще с серебряным набором. А женщины-армянки в Ростове любили носить темные шелковые шали. Мама тоже носила, хотя была русская. Приехавшая в Ростов из Москвы в тридцать восьмом году вместе с сыном, нареченным — Петр. Был такой архаровец Петр Глушков, он же отличник учебы. Старшина повел роту, а я направился к Трушину: тот о чем-то разговаривал с командиром минометной роты.

Я сказал:

— Айда к нам спать, Федор! А?

— Не возражаю. Только вопрос: не надоем роте лейтенанта Глушкова?

— Не надоешь.

— Будь по-твоему... За жизнь поговорим?

Я кивнул. Можно и поговорить, мы давненько не философствовали как следует. Но главное — просто побыть с Федором. Это же мой фронтовой друг. Цапались с ним? Бывало. Да забылось нынче. А помнит ли он? Думаю, нет.

Мы присели на нашу не очень чтобы взбитую пышно постель, во всяком случае, мослами расчудесно ощущаешь твердь земного шара. Сапоги долой, гимнастерки и штаны долой! Правда, ночью может пробрать свежестью пустыни или полупустыни, о которых столь выразительно читал давеча старшина

Колбаковский. Трушин повернулся ко мне спиной — нижняя рубаха измята, словно в рубцах от нагайки. По-видимому, и у меня такая же, хотя нагайками нас никто не стегал. Жизнь, верно, иногда охаживала, но больше по голове, и не плеткой — обушком. Да ладно, что об этом? Кто считает твои синяки и шишки, а также раны? Сам считай, не передоверяй другим.

— Подымим, Федюня?

Пошучивая, я ожидал, что в ответ Трушин обзовет меня Петюней, он же сказал:

— Подымим, ветродуй.

Вот это да! Так меня обзывал в Восточной Пруссии старшина Колбаковский, когда я пребывал взводным. Нынче я — подымай выше — ротный, а вот с чего Трушин употребил это обижавшее меня словцо? Или острит? Я шучу и он шутит? Странноватая шуточка, товарищ гвардии старший лейтенант. Я подрастерялся. И не то что обиделся, но как-то неприятно заныло сердце, хотя и чуть-чуть. Федор этого не заметил, сказал ворчливо-добродушно:

— Ну, вытаскивай. Твоих закурим.

Протянул ему пачку.

— А чьи они?

— Мои.

— Да не про то я! Трофейные или наши, советские?

— Наши. Дрянь вонючая.

— Как у тебя язык поворачивается! Говорить о советских папиросах — дрянь!

В сумраке при затяжке огонек чуть освещает лицо Трушина, но выражения не разобрать. Зато интонацию разбираю, не шутейная, раздраженная.

— Ты что, Федор, очумел?

— Не я — ты очумел! Мы патриоты или нет?

— Я патриот. Не меньше, чем ты. А папиросы все-таки неважные...

— Неважные — куда ни шло. А то загнул — дрянь. Как будто немецкие эрзац-папиросы лучше! А вообще-то иногда и промолчать небесполезно, если тебе что-нибудь не нравится из нашего, советского.

Хочется сказать, что это демагогия, что он чурбак, и вообще недурно бы врезать ему промеж глаз! Но я же люблю своих товарищей, своих однополчан, о б я з а н любить их: они пойдут со мной в бой, на смерть. Пересиль себя, люби Федю Трушина, как брата своего. Толстовец ты, что ли, лейтенант Глушков? При чем тут толстовство? Все проще: глупый ты и зеленый, ты мальчишка, хоть за спиной четыре года войны. И Трушин мальчишка, хоть у него за спиной те же годы. И опять вдалбливаю себе: помягче будь с людьми. Если что — уступи товарищу. Вполне миролюбиво я сказал:

— Давай-ка спать.

— Давай,— ответил Трушин менее миролюбиво.

И вместо философского, вдобавок душевного разговора мы молчком улеглись затылком к затылку, как повздорившие супруги. Первым вырубился Трушин, пустив доброго храпака. Подложив кулак под щеку, уснул и я.

8

Еще воспоминание о той войне. Шагаем по Польше, победители-освободители, и ласковое солнце ранней осени, и золотистая пыль шляха, поднятая фурой — колеса на резиновом ходу, и целующаяся у нас на глазах молоденькая польская парочка, тяготеющая к кусточкам, и ломящая зубы вода из колодца, и старая полька, угощающая моих солдат этой водичкой и говорящая нам вслед: «Не католики, но люди хорошие». Я потом эту фразу в наш адрес не раз слыхал от поляков. И улавливал в ней сокровенный смысл: хорошие потому, что вызволяют из гитлеровского рабства, даруют свободу и независимость. Ну, не даруют — слово можно употребить и попроще. А главное — шагаем уже Польшей, и до победы недалеко.

С утра до вечера, как кроты, копаемся в земле, на головах пилотки либо нательные рубахи и вафельные полотенца наподобие чалмы. Или с вечера до утра — смотря в какую смену выпадают роте саперные работы. Ископали все окрест — окопы, щели, укрытия для машин. Затем стали ковыряться поближе к границе — траншеи, ходы сообщения. Вкалываем — будь здоров!

Толя Кулагин спросил меня:

— Товарищ лейтенант, на кой, извините, хрен роем укрепления, ежели собираемся наступать, а не обороняться?

— Начальству видней,— ответил я. Во-первых, так оно и есть: начальству видней, во-вторых, официально о наступлении нам еще не объявили, а в-третьих, не буду же разъяснять, что оборонительные работы могут вестись для дезинформации противника. Вот тут замполит Трушин прав: полезно подчас и перемолчать, военное дело не терпит излишней разговорчивости.

— Ну, а все-таки, товарищ лейтенант? — не унимался Кулагин.

Его оборвал сержант Черкасов:

— Анатолий, не задавай ненужных вопросов!

— Как то есть ненужных?

— А так! — вступил в разговор старшина Колбаковский. — Командир роты тебе ответил, и точка.

— Точка с запятой,— сказал Кулагин. — Начальству-то видно, но и мне охота знать...

Мало ли кому чего охота. Лейтенанту Глушкову, например, охота, чтоб хоть на часик рядом очутилась его Эрна, его женщина, и чтоб он обнял ее за плечи и повел в степь, подальше от постороннего взора; степь нашпигована войсками, и все же он сыскал бы укромный уголок. Ах ты, Эрна, Эрна! Пусть твой образ не сливается с другим образом — Нины, которая живет в городе Чите, существуйте в моем воображении каждая сама по себе.

Мы долбили землю ломами, копали не только малыми саперными лопатками, но и большими саперными: пальцы сжимают черенок, подошвой сапога налегаешь на лезвие — сухой скрежет железа о камешки,

отваливаешь пылящий, рассыпающийся прахом пласт. Разгибаешься и снова сгибаешься, и так до упаду. Потом чувствуешь: будто кол всадили в поясницу.

Получается: перед тем как выдержать испытание войной, нам надобно пройти испытание трудом. Сотни километров марша и саперные работы — пота пролито вдосталь.

А через недельку после начала саперных работ комбат объявил: завтра возобновляются занятия по боевой и политической подготовке, особое внимание — тактике. Значит, попотеем и на тактических учениях. Мда! Порой кажется: неизвестно, где трудней, на войне или на учениях. Правда, на учениях не убивают. Народ, в общем-то, не унывает. Вот если б еще солнце не так накаляло воздух и землю, если б какой-нибудь тенечек был. К вечеру уже можно жить, но днем...

— Товарищ парторг, газетки не подвезли? — спросил Свиридов.

— Молодец, ефрейтор,— сказал Симоненко. — Не о воде, не о жрачке думку имеешь. Про духовную пищу думаешь!

— Да уж я таковский. Политику уважаю... Так есть свежие газетки?

— Это ему для курева,— не без ехидства вклинился в разговор Логачеев. — Цигарки вертеть!

— Карамба! — Свиридов высокомерно вскинул брови. — На самокрутки сгодятся и старые газеты. А я прошу у парторга свежих. Для чтения, понял или нет, элемент ты несознательный, фрукт ты недозрелый!

— Политически недозрелый,— уточнил Симоненко. — А ефрейтор Свиридов приохотился к газетам, потому как его сознательность выросла. И я радый, что воспитал у него данную тягу к советской печати, так же, товарищ Свиридов?

— Не совсем так, товарищ парторг. Конечно, вы воспитывали... Но еще раньше меня воспитывала одна особа женского роду-племени, учителка в Братске...

Симоненко с неудовольствием посмотрел на бывшего аккордеониста, звезду эстрады Егоршу Свиридова, спросил пристрастно:

— Что за учителка?

— Да была одна... По имени Анфиса. Молодая, красивая деваха, жаль только, очки носила. И политикой шибко увлекалась... Не, с ее дисциплиной это не было связано, она преподавала естествознание, проще сказать — про флору и фауну, еще проще — про цветочки и животных. Но, как потом прояснилось, душа у Фисы лежала к политике. — Как любой мало-мальски опытный рассказчик, Свиридов выдержал паузу и лишь затем продолжил: — Фиса снимала комнатку у соседки, так что мы познакомились. И она мне приглянулась, и я стал назначать ей свиданки... Стратегию улавливаете?

— Улавливаем,— сказал Головастиков.

— Тогда идем дальше... Для полного проясненья стратегии: мне шел восемнадцатый, Фисе — двадцать четвертый, вот как товарищу лейтенанту... Взамуж брать не рассчитывал: шибко старше, да и вряд ли за меня пойдет. Потому соцположение у нас не совпадало: она — учителка, интеллигенция, институт в Иркутске кончала, у меня — шесть классов с грехом пополам, трудяга на лесосплаве, черная кость. Не пара! Но приударить и кое-чего добиться хотелось, не буду врать. Потому, повторяю, нравилась... Ну, встречаемся. Раз, другой, третий. Я намеками про свои симпатии, вздыхаю со значением, она будто не замечает и сводит на политику. Я же в политике в те годы ни бум-бум. И получалась чехарда... Навпример, говорю: «Фисочка, не пойтить ли нам в черемушник, соловьев послушать?» А она: «Как вы, Егор, думаете, Чемберлен выдающийся политик?» В гробу б я видал этого Чемберлена, только после прознал, что за деятель... Я ей говорю: «Фисочка, какие у вас золотистые волосы», а она: «Волосы как волосы... Но что вы думаете о Лиге Наций?» Ничего не думал, потому не знал ничего про эту Лигу. Не читал, не слышал. Ну, а Фиса уйму книг и брошюрок прочитала — и все политическое, из газеток статейки соответственные вырезала. Подкованная по данной части! Дальше как складывалось? Так: я хочу обнять ее, она отводит мои лапы, говорит, что очень обеспокоена позицией Америки, также и Японии, или что-то такое. И очками сверкает — как режет! Короче, отчалил от нее. А жалко, деваха была красивая... Польза: через Фису в газетках стал читать не одни фельетоны да «Из зала суда», но и про внешнюю политику... Теперь газетки читаю от корки до корки. Роль бабы в нашей жизнедеятельности, конечно, выдающая... Эх, да что там говорить! Был бы сейчас аккордеончик, рванул бы я «Брызги шампанского» или «Аргентинское танго»! Сердце горит, вспоминаючи!

— Ты здорово играл, а пел-то как, Егорша! — с чувством сказал Головастиков. — У меня слеза выжималась!

Обрел дар речи старшина Колбаковский:

— Как гласит русское присловье: близок локоть, да не укусишь. Еще недавно был жив аккордеон. Под названием «Поема».

— Присловье не к месту,— буркнул Свиридов, явно осердившийся. Отчего?

— Как это не к месту? — Колбаковский не рассердился, но тенорок у него затвердел. — Хорошая пословица да поговорка завсегда к месту. Вот! Монгольские припомнил. Некоторые... «Гость что добрый конь». Плохо разве? Ведь для монгола конь все. «Болтун работает языком, труженик — руками». Тоже неплохо. Или так: «Руки до седла не достают, а он их до неба протягивает». Ого! А вот: «Змея ядовита, толстая она или тонкая». А?

— Метко говорят монголы,— сказал я.

— Еще как метко! — Колбаковский обрадован моей поддержкой. — Гляньте, как они называют коров, овец, коз. Называют: скот коротких ног. А скот длинных ног — это лошади и верблюды.

— Это так,— сказал я, подумавши: «На батальонной беседе Кондрат Петрович шпарил по брошюр-

ке, а сколько б интересного, истинно своего мог бы он рассказать о Монголии...» И еще подумал: «В эшелоне Егор Свиридов одергивал моего ординарца, когда тот пересаливал насчет женщин. А теперь сам жует о бабах. Да, трудно молодым мужикам обходиться без прекрасного пола...»

В роту прибыло пополнение — десяток юнцов вроде Вадика Нестерова да Яши Вострикова и два лейтенанта, на взводы — из резерва Забайкальского фронта. Бойцы — худые, заморенные, в поношенном обмундировании, в сбитых ботинках и линялых обмотках. В таких же обмотках — неслыханно для нас, фронтовиков,— и лейтенанты. Офицеры в обмотках, черт-те что, непотребство! И гимнастерочки, и пилоточки на них плохонькие-плохонькие. На груди, конечно, ни единой медали. Да откуда же ей быть, если всю войну простояли в Забайкалье, в Монголии? Западники вновь прибывших встретили гостеприимно, но несколько покровительственно, даже Нестеров да Востриков, сами не нюхавшие пороху, однако приехавшие с Запада. Исключение составил старшина Колбаковский. С ходу вызнав, что лейтенанты до резерва служили в 17-й армии, Колбаковский аж засветился. Будто родичей повстречал. Заявил решительно:

— Товарищи лейтенанты, у вас какие размеры ног? Сорок второй и сорок третий? Та-ак... Попытаю организовать сапоги!

Лейтенанты — одного фамилия Иванов, другого Петров — замялись, засмущались благодарно. Старшина ободрил их добродушным взглядом. Восточники робели перед нами. Ну, еще бы! Мы такое на Западе отгрохали, ордена и медали позвякивают, нам сам черт не брат. Но у них, проживших эти четыре года в Забайкалье, в Монголии, есть важное преимущество перед нами — они хорошо знают здешние края — будущий театр военных действий.

Знакомясь с лейтенантами (кстати, мои ровесники), я им так и сказал:

— Мы поделимся с вами опытом западной войны, а вы с нами поделитесь знанием местных условий. Договорились?

Они поспешно кивнули. Ребята вроде бы неплохие. Похожи друг на друга — не внешностью, а чем-то иным, сразу не определишь чем. Не распространенностью же своих фамилий? А схожих портретно старших сержантов — большелобых, большеротых, белобрысых, курносых, с фасонистыми усиками — придется сызнова снимать со взводов. Вот так на Западе: только поменяют, а присланных лейтенантов — гляды! — уже убило или поранило. Хочу, чтоб все оставались на своих местах. Но это же невозможно на войне...

Третьего офицера на взвод покуда не прислали, и я решил: буду продолжать командовать этим взводом, есть толковый помкомвзвода. А я к тому же варился в этом котле сколько! Имеется опыт, имеется. И помкомвзвода был, и отделенным, и рядовым бойцом. Школа, необходимая и маршалу. Ладно, маршал Глушков, отломишь новую войну — и на гражданку, учиться, устраивать мирную жизнь, в армии же ты не останешься? Не останусь. Тогда и звание маршала не получишь. Ну, что же поделаешь, уйду в запас старшим лейтенантом, если присвоят, если представление не застряло в канцелярских дебрях.

С Ивановым и Петровым я жил в одной палатке. Землянок в батальоне было мало, в основном палатки, драные-передраные, откуда выкопали, с какого склада, давно бы пора списать. Но тут — рваные, в дырках — пригодились, и еще как. Худо ли бедно укрывали от зноя, от пыльных бурь хоть на время отдыха. От дождей не укрывали, потому что их не было, дождей. Что ни говори, крыша над головой — великое благо. Еще с нами в палатке обитал старшина Колбаковский, как-никак ротное начальство. Ну и, конечно, мой ординарец Драчев, тоже с какого-то боку имеющий касательство к ротному начальству. Так вот, старшина Колбаковский и раздобыл бутылочку «Московской», приволок в палатку перед ужином:

— Товарищ лейтенант, дозвольте!

Вопрос был обращен ко мне. Я медлил не столько с разрешением, сколько решал, выпивать ли мне. Дал же зарок завязать. Иль по махонькой, контролируя себя, можно?

— Не сомневайтесь, товарищ лейтенант! На четверых сущая пустяковина...

Мишу Драчева не принимают в расчет, и правильно, пожалуй. Меня также не стоит принимать, я выпью скорей символически.

— А Иванов и Петров употребляют?

Оказалось, употребляют, но чуток смущаются при этом. Кондрат Петрович объяснил:

— Повод есть, товарищ лейтенант! Нынче день рождения у меня...

— Сколько же стукнуло, Кондрат Петрович?

— Военная тайна! А то скажете: дюже старый Колбаковский, в кадрах нельзя оставлять!

— Это бабы скрывают свой возраст,— сумрачно сказал Миша Драчев, очевидно уязвленный тем, что его отстранили от участия в застолье; как я заметил, ординарцы иногда отождествляют себя с теми, при ком состоят, и требуют соответствующего обращения. Не надо так, Мишенька!

Старшина игнорировал драчевскую шпильку, стал разливать по кружкам. Я прикрыл свою ладонью, взял бутылку, плеснул себе на донышко, вернул бутылку. Взводные скромно помалкивали, а Колбаковский пустился увещевать меня:

— Да что вы, да как же? Ну, еще маленько подолью...

— Ша! — сказал я, и Колбаковский угомонился.

— Стальной вы человек, товарищ лейтенант,— сказал Драчев и проглотил слюну.

— Это уж точно,— ответил я, посмеиваясь и над ординарцем, и над собой. Ведь действительно втайне горжусь своей алкогольной выдержкой, весь вопрос — надолго ли ее хватит.

Не глядя на Драчева, старшина безошибочными, выверенными дозами разлил водку по трем кружкам, выдал нам по очищенной луковице и ломтику черного хлеба, круто присоленному, объяснил:

— Бутерброды.

— Ну, будьте здоровы, Кондрат Петрович,— сказал я. — Чтоб вам еще долго жилось на белом свете...

— Среди хороших людей! — Влез он в мой тост, извинился: — Перебил вас, товарищ лейтенант.

— Да нет, ничего... За вас, Кондрат Петрович!

Я деликатненько, чуть-чуть отхлебнул, все больше гордясь: могу управлять собою, не пасую перед водкой! Присматривавшиеся ко мне Петров, Иванов и Колбаковский ополовинили свои порции, хотя было очевидно: с удовольствием бы высосали до победного конца. Мы понюхали, отгрызли лук, отведали бутербродов по-колбаковски. Ребятам было хорошо. Я ласково глядел на новорожденного, на Иванова и Петрова и даже на ординарца, демонстративно гремевшего котелками в углу. Снова и снова ощущал кровную близость к этим и к другим, вне палатки, людям, с которыми свела военная судьба и с которыми идти до финала — сквозь новые сражения. И снова и снова подумалось: накануне того, через что нам надо продраться живым или мертвым, как же странна вся эта обыденщина — надутость Драчева, выверенность старшинской руки, разливающей по чаркам, вспыхнувший между Ивановым и Петровым пустопорожний спор: одно ли это или нет, именины и день рождения, слезы от злого лука и все такое прочее.

Мне бы всплакнуть не от репчатого лука, а от любви к ближним, но, увы, подобных, натуральных слез нет. Подогреваюсь, взбадриваюсь? Отнюдь! Я действительно люблю своих товарищей, хотя порой и обижаю их. Как и они меня. Это тоже из области обыденного, которое паутиной налипает на нас. Понимаю: обыденность, бытовщина, неотрывность, что ли, от истоптанной земли неизбежны, даже когда совершаются подвиги. И от сознания этого становится грустно. И грусть не светлая, а какая-то смутная, тревожная. Очень просто: хочется и людей, и себя видеть чище, чем есть на самом деле. И другое просто: принимай людей и себя такими, какие есть в натуре. Сколько уж твердил: к людям будь помягче, к себе построже, люби людей, а не себя. Что я и стараюсь делать. Не всегда, впрочем, последовательно. А делать это не обязательно со слезой во взоре...

Я встряхнулся и сказал:

— Ребята, мы отвлеклись... Позвольте завершить ваш диспут: прав Иванов, день рождения и именины — разные вещи, именины — это день ангела, день святого, имя которого дают новорожденному... — Про себя усмехнулся: крупный теолог, авторитетно решаю религиозный диспут. — Давайте вернемся к новорожденному, к Кондрату Петровичу...

Новорожденный — с брюшком, с мясистыми складками на щеках, с залысинами и плешиной — обнажил в металлической улыбке вставные зубы:

— Та что там Кондрат Петрович та Кондрат Петрович? Я человек маленький. Хотя не зазря жую казенную пайку и протираю казенные штаны... Извиняйте, товарищ лейтенант, сызнова вас перебил...

— Предлагаю осушить до дна не за маленького человека старшину Колбаковского, а за личность, за че-ло-ве-ка! Все мы человеки, если и не с большой буквы, то и не с малой! И еще чтоб все мы и новорожденный, конечно, воротились с этой войны до дому, до хаты!

Я велел Драчеву подавать котелки с ужином. Подостывшая каша с кусочком колбасы показалась необычайно вкусной. Застучали ложки. Взводные, изголодавшиеся на тыловом, собственно, пайке, рубали вовсю, опережая прочих, даже Мишу Драчева с его недюжинным аппетитом. Потом пили чай, дымили папиросами. Старшина Колбаковский говорил почти вдохновенно:

— Я, товарищи офицеры, не сообразую, или, проще сказать, не укладывается в моем воображении: как это так, чтоб лейтенант ходил в обмотках? Расшибусь в лепешку, а кирзачи вам раздобуду, у меня кой-какой блат на вещевом складе!

— Отблагодарим, старшина,— сказал Иванов.

— За нами не пропадет,— сказал Петров.

— Я, товарищи офицеры, не люблю трепаться, или, что проще сказать, зазря бросать слов на ветер! Пообещал — выполни, так же?

Я рассматривал лейтенантов, мне с ними придется съесть если не пуд, то уж фунт соли наверняка. У них примечательные, будто бы отменяемые одно другим лица: у Иванова — широкий лоб и узкий подбородок, у Петрова — узкий лоб и широкий подбородок, словно груши в разном положении («Груши наоборот»,— веселюсь я, хотя мне совсем невесело). Иванов блондин, Петров брюнет. У Иванова косой пробор направо, у Петрова — налево, у Иванова усики короткие, у Петрова — длинные, закрученные книзу («Усачи, под гвардию работают»,— продолжаю веселить себя); правда, оба высокие, костистые, какие-то одинаково неуклюжие, и после выпивки оба разрумянились. Ребята, видимо, неплохие, хотя малость подзатурканные безрадостной тыловой службой.

Иванов и Петров захмелели чуток, я — совсем ничего, зато старшина Колбаковский непонятно как окосел: сто пятьдесят для фронтовика — тьфу!

5

Еще получили пополнение — двадцать пять гавриков, в основном те же безусые, и теперь рота более или менее полнокровна. Хотя штатного состава не достигла. Да и не достигнет никогда. Не упомню за четыре года, чтоб стрелковые подразделения и части были полностью укомплектованы. Не берусь судить об артиллерии, авиации или танковых войсках, а вот пехота она и есть пехота: в боях ее выбивало так, что не управлялись возмещать потери. Сколько же выбьет этих семнадцати-восемнадцатилетних и постарше?

Мне надо запомнить новеньких в лицо и пофамильно. Успею ли до войны? Может, она завтра нач-

нется. А может, через месяц? Об этом высшее командование не докладывает взводным и даже ротным командирам. Не тот, как говорится, уровень. Вообще-то о дне и часе, когда начнутся боевые действия, знают, наверное, лишь в самых верхах. Там, в верхах, все расписано, там предопределена и наша судьба. Вглядываюсь в ребят. Они бодрые, неунывающие, веселые. Взводные, осчастливленные Колбаковским, в кирзачах, которые не устают ваксить, тереть бархоткой при здешней-то пылюке, и сам старшина дышали у меня за спиной, словно дыханием своим поторапливая: пора, пора, товарищ командир роты, распустить строй. Я скомандовал:

— Разойдись!

До этого мы распределили пополнение по взводам, стараясь, чтоб друзья-товарищи не разлучались, а попадали вместе. Недовольных как будто не было. Галдя, толкаясь, новички гуртовались вокруг Иванова и Петрова, зачисленные в первый взвод жались на отшибе, словно боясь подойти. Я сказал им: «Давай сюда, хлопцы!»— и приглашающе взмахнул рукой. И в который раз ощутил себя отцом этих семнадцатилетних и восемнадцатилетних и постарше. Да что там семнадцатилетние! Отеческие чувства я испытывал даже к пятидесятилетним старикам, которые демобилизовались еще весной в Восточной Пруссии. К Абрамкину Фролу Михайловичу, например. Тогда, на станции, перед посадкой демобилизованных в эшелон я перецеловался и переобнимался со старичками из своей роты (их было семь душ, а по полку около сотни). Фрол Михайлович плакал у меня на плече, утирался платочком, и я подарил ему свои часы...

Ах, если б кто-нибудь испытывал ко мне отцовские чувства! Скажем, командир дивизии или полка, да хоть батальона,— потому как, кроме отцов-командиров, некому. Мне так сейчас не хватает отца, как не хватало его, впрочем, и всю жизнь. Безотцовщина — худо, братцы.

Я тряхнул головой и сказал новичкам:

— Хлопцы, пойдемте к палатке, вы расскажете о себе — откуда родом, где служили, как служили... И я вам немного о себе расскажу... Познакомимся поближе!

И у офицерской палатки, тщетно прячась от солнца, солдаты смущенно, с неохотой рассказывали о себе. Никак не мог сразу запомнить имена и фамилии новичков. Раньше за мной этого не водилось. Память, что ли, слабеет? Или отвлекаюсь на постороннее? Вот гляжу на их кисти и думаю: старые руки у молодых людей. Натруженные, в ссадинах, в морщинах. Постаревшие на суровой воинской службе. И у меня такие. Руки что, не постареть бы преждевременно душой. Война с этим недурно справляется — умеет старить. А ведь надо пройти еще одну войну.

Солнечные лучи падали отвесно, как дождевая стена, но дождь несет прохладу, а солнце — зной и духоту. Никакой тени в полдень от палатки нет, в ней самой духотища непрошибаемая. Дождей по-прежнему ни капельки, солнца хоть отбавляй. Изредка появляются облачка и тут же испуганно откочевывают за горизонт, и снова монгольское небо — ясное, чистое, как глаза у ординарца Драчева, когда он хочет соврать. Именно такими глазками глядел верный ординарец, отпрашиваясь в санчасть.

— Не сачкуешь? — спросил я без дипломатии.

— Что вы, товарищ лейтенант! Нога болит — спасу нету, ходить невозможно. Батальонный фельдшер подсказывает: покажись в санроте... Видать, растянул я сухожилия на занятиях, когда спрыгнул в траншею...

В занятиях-то, кажется, и загвоздка. Не отлынивает ли от них Драчев? Хромает, точно. Но не придуряется ли, выражаясь культурней — не симулирует ли? Не отпускать Драчева в санчасть у меня не было, однако, прямых оснований. Отпустил. И к моему удивлению, Драчев приволок справку: на трое суток освобождается от всех занятий. Правильно, правильно: как раз на ближайшие три дня и намечены тактические учения: марш-бросок, прорыв долговременной вражеской обороны, сооружение своей обороны и прочие прелести полковых учений. Справка подписана командиром медсанроты. Сейчас там командиром — капитанша, молодая и стройная, с полураскрытым в постоянной улыбке алым ртом и добрая-добрая, вокруг которой увивается все полковое начальство. Добрая, потому и подмахнула справку: жалобы есть — пожалуйста, получай освобождение. Чует сердце, смухлевал тут мой верный ординарец.

Давно подмечено: ординарцы, писаря, повара, парикмахеры и тому подобная публика со временем портятся, можно сказать, загнивают на корню, избалованные хоть и маленьким, но в условиях армейского бытия ощутимым преимуществом своего положения в подразделении. Заедаются и малость теряют совесть. Есть, конечно, приятные исключения, однако опасаюсь, что Миша Драчев в их число не попадает. Подмечено также: для исправления заевшихся на своих теплых местечках субчиков полезно вернуть в строй, чтоб поорудовали винтовкой либо автоматом, а не черпаком, авторучкой, ножницами! Но, увы, вряд ли у меня поднимется рука на ординарское благополучие Драчева: жалко. Да и второй мировой скоро амба! Демобилизуемся, разъедемся в разные концы, что ж напоследок ломать друг другу судьбу? Потом, ежели разобраться, какое уж там теплое местечко! Ведь ординарец со мной в боях, передок — его родной дом. А далеко ль от переднего края те же повара, писаря, парикмахеры либо сапожники? Да нет, рядышком, разве что в атаку не ходят. Впрочем, и в атаку ходят — когда большие потери и комдив подчищает резервы, всех, кто может держать оружие,— в строй! Так что, как говорится, все на свете относительно...

А с освобождением Драчева вышла накладка. В ту минуту, когда я с глубокомысленным, а в действительности недовольным видом вертел справку, подошел замполит батальона гвардии старший лейтенант разлюбезный Федя Трушин — и с ходу:

— Что за бумаженция? Освобождение? Так, так, любопытно... Дай-ка сюда! — И цоп у меня из рук. Столь же глубокомысленно и недовольно рассматривал справку, а затем к ординарцу: — Рядовой Драчев!

— Я, товарищ гвардии старший лейтенант!

— Рядовой Драчев, слушай мою команду. — И рявкнул: — Бегом марш!

— Куда бежать, товарищ гвардии старший лейтенант? — ошалело спросил ординарец.

— Вперед! — еще оглушительней рявкнул Трушин. — Бегом!

Ординарец сорвался и — я не поверил — побежал резво, нисколько не хромая. Но метров через пятнадцать, словно опомнившись, перешел на шаг, захромал. Трушин одарил меня красноречивым взором и крикнул:

— Рядовой Драчев, ко мне!

Ковыляя, приблизился ординарец. Сперва его глазки ускользали от нас, но вскоре стали чистыми, ясными и безбоязненными. Трушин сказал:

— Драчев, чего же ты сразу не захромал? Рванул как — любо-дорого!

— С перепугу, товарищ гвардии старший лейтенант! Опосля же испуг прошел, боль-то и взыграла...

— Брешешь!

— Никак нет, товарищ гвардии старший лейтенант!

— Брешет? — Трушин повернулся ко мне. — Чего в рот воды набрал, ротный?

Я молча пожал плечами. Конечно, у меня тоже подозрение, что Драчев словчил. С другой стороны, справка, официальный документ: по состоянию здоровья нуждается... Трушин сложил бумажку вдвое, сунул в планшет:

— Не терплю, когда ты вот этак неопределенно пожимаешь плечами. Как прикажешь тебя понимать? Уходишь от ответа... Либеральничаешь! Либерал ты закоренелый! Черт с тобой, пусть этот симулянт валяется в палатке, пока полк будет вкалывать на учениях. Если ему не стыдно... А справочку заберу с собой. Надо разобраться, почему в батальоне столько освобожденных. А? Что?

Я молчу, но понимаю, откуда изобилие освобожденных — сердобольность полковой врачихи, очаровательной женщины с капитанскими погонами. И возникает беспокойство за нее. Чтобы рассеять его, говорю Трушину:

— Медицина! Она разумеет что к чему, ей надо доверять...

— А кто будет проверять? Политработник! Он должен разбираться в медицине не хуже, чем врач!

— Загибаешь, Федор!

— Не я загибаю, Петро, а ты недопонимаешь!

Тут только обнаруживаем, что рядовой Драчев стоит как столб, слушает наше собеседование. Трушин хмурится.

— Топай, топай, Драчев,— говорю я, и ординарец, сильно припадая на ногу, чуть не падая, удаляется.

— Ловкач, комбинатор, симулянт,— произносит сердито Трушин. — А ты сызнова роту распускаешь?

— Бог с тобой.

— Сама распускается?

— Никто не распускается! Что ж ты из единичного случая делаешь столь далеко идущие выводы? Да ведь и не доказано, что Драчев симулянт, налицо же официальная справка...

— Липовая,— обрывает Трушин. — С этой липой мы еще разберемся... А тебе совет: держи вожжи в руках, события близятся. Чуешь, чем пахнет воздух?

— Чую, Федор.

Это было и так, и не так. Конечно, я немало думал о грядущей войне, но удивительная штука: учеба, учеба до одури, до изнеможения,— и тревожные предчувствия как-то глохли, а то и вовсе забывались за повседневной маетой. И я переставал чувствовать, чем пахнет воздух — разве что прокаленной пылью, привядшим полынком и едким солдатским потом. А ведь он еще пах и войной!

Дивизионная, армейская и фронтовая газеты пестрели шапками: «Тяжело в ученье — легко в бою!», «Больше пота в ученье — меньше крови в бою!». Учиться, конечно, надо. Но, как бы ни тяжело было в учениях, в бою будет еще тяжелее, и, сколько б пота ты ни проливал, крови тоже достаточно прольется. И еще: все то, что мы отрабатывали, давным-давно изучено и, так сказать, неоднократно опробовано ветеранами на практике. Молоденьких, свежего призыва, солдат полезно погонять, поучить уму-разуму, но гонять прошедших Отечественную Головастикова, Кулагина, Логачеева, Свиридова, Черкасова, Симоненко и прочих зубров? Однако я из них пот выжимаю, как и изо всех, как и из себя. Не люблю что-либо делать для блезиру. Если уж взялся, так делай с полной отдачей. Если проводить занятия, так на совесть. Мои взводные, Иванов и Петров, тоже не щадят живота своего на занятиях. О старшине Колбаковском и говорить нечего: старый армейский конь тянет ротную телегу как коренник.

От ветеранов я еще требую: передавайте свой опыт, свое умение молодым солдатам. Занимаемся с утра и дотемна: тактическая подготовка, огневая, строевая, занятия по матчасти, по противохимической защите и так далее, и так далее. Наитяжкое — тактические учения то в масштабе батальона, то в масштабе полка, а предстоят еще, сулит нам комбат, дивизионные учения. На учениях схема одна: марш по степи, потом копаем окопы и траншеи (будто их не накопала до нас Семнадцатая армия, пользуйся готовенькими, но нельзя: будет упрощение, а боевые действия надо усложнять, приближая к реальным), занимаем оборону, потом идем в наступление, прорываем оборону другого батальона или полка, отбиваем контратаки, продвигаемся в глубь укрепрайона — и опять марш по степи. Иногда наш батальон выступает в роли обороняющейся стороны.

Трехдневные учения дались тяжко потому, очевидно, что солнце окончательно взбесилось и пекло, как никогда. А к тому же спали мало: ночами были марш-броски. Скатки через плечо натирают шею, противо-

газы оттягивают бок; снова нам их выдали: команда «Газы!» — и мы натягиваем на потные грязные рожи резиновые маски: и так дышать нечем, а тут еще душишься в противогазе. Команд хватает: «Воздух!», «Танки справа!», «Танки слева!», «Конница с тыла!». Мы рассредоточиваемся, залегаем в цепи, изготовившись к отражению атаки самолетов, танков или кавалерии. «Огонь, залпом, пли!» — хлопают холостые патроны, вместо ручных гранат летят взрыв-пакеты, грохает вполне натурально. Вижу: фронтовикам эти игрушки осточертели; новенькие, молоденькие, прилежны; восточники во главе с Ивановым и Петровым столь же прилежны: привыкли за тыловые годы ко всяким учениям, составлявшим смысл их существования. Но надо действовать по правилам, и я требую от всего личного состава серьезности, всамделишности, попутно внушая себе: так нужно! И захлебываюсь сухим, прокаленным воздухом и горьким потом...

Полуживые воротились с учений, и первым, кого я увидел в расположении, был ординарец Драчев. Он нисколько не хромал, шел нормальной, шустрой походкой. Я еле вымолвил:

— Прошла нога?

— Так точно, товарищ лейтенант. Потому как учения и освобождение кончились. — И ощеряется, плут. А между прочим, на учениях ординарец ой как был потребен, пришлось временно назначить молоденького Яшу Вострикова, расторопного и услужливого. У меня нет ни сил, ни желания выяснять что-то у Драчева, совестить, читать мораль. Молча прошел к палатке.

10

Я шагал в штаб полка на офицерское совещание и услышал, как чернявый, смуглый, цыганистый — лишь серьги не хватало в ухе — чужой солдатик нажаривал на аккордеоне. Проходя мимо, машинально взглянул на планки. «Поэма»! Именно на таком аккордеончике нажаривал свои бесконечные танго Егорша Свиридов.

А на совещание вызвали, чтобы внушить: командирам подразделений надо усилить напряженность в боевой подготовке. Честно говоря, что это значит — усилить напряженность, — я не совсем понимал. Если под этим подразумевается, что нужно гонять на учениях еще сильней, то сие невозможно: мы гоняем и нас гоняют как сидоровых коз. Как говорится, на пределе. Вот-вот рухнем. И уже хочется, чтоб быстрей началась война. Противоестественное желание, но понять нас можно: вымотаны до чертиков. Припоминаю: в тылу, на полуголодной норме, думалось, как бы скорей на фронт, на первую норму, чтоб наедаться. По-человечески это объяснимо.

А совещание в полку меня несколько озадачило. Потому что кроме накачки мы получили и взбучку — за разговоры о предстоящей войне! Комполка так и рубанул: прекратить всякую болтовню о том, что мы якобы готовимся воевать против Квантунской армии, прекратить — под личную ответственность командиров подразделений! Болтовня? Но ведь уже вроде бы никто не скрывает этого? Словно опровергая мои мысли, комполка сказал:

— Личному составу надо разъяснять, что советские войска укрепляют оборону, про возможность наступления — ни звука.

Как-то странно получалось: на учениях прорываем долговременную, сильно укрепленную оборону, на политзанятиях нам рассказывают о японском милитаризме и Квантунской армии, в беседах агитаторов — о преступлениях самураев. И вдруг — начали усиленно копать окопы и траншеи, возводить дзоты и землянки поближе к границе и заготавливать сено, опять-таки вблизи границы. Может быть, для того, чтобы японцы видели: мы укрепляем оборону, собираемся зимовать? Не дезинформация ли это противника? Тогда нет ничего странного в указаниях командира полка насчет болтовни. Указания же и приказания в армии, между прочим, не обсуждаются, а выполняются, кто-кто, а командир роты лейтенант Глушков это усвоил твердо... Значит, надо в частных разговорах помалкивать о предстоящем наступлении. Чтобы не было утечки информации. Вот и армейская печать пестрит заметками не о наступлении, а об обороне. Понятно: газетка может попасть к японскому разведчику. Видимо, так. Ну и умный же ты, лейтенант Глушков. Как говорят, ума палата...

Дни волочились нудные, приевшиеся, а где-то, помимо них, что ли, стремительно приближалась война, точнее — мы стремительно приближались к войне. Болтать о ней, конечно, не будем, но чутье фронтовика тебя не обманывает: вот-вот грохнет она над головой. Каким будет начало войны? Во всяком случае, не таким, каким было начало западной. А как кончится восточная война? Как закончилась война на Западе — известно, в подробностях и деталях. Описано было, рассказано было очевидцами и свидетелями.

Девятое мая: мой взвод шагает во всю улицу немецкого городка, притихшего, будто вымершего, я во главе. Смеемся, поем и плачем. Смеется молодой солдат Погосян: «После победы сто лет буду жить! Дети пойдут! У детей свои дети, сто внуков будет!» Плачет пожилой солдат Абрамкин: «Дожили, братушки, дожили...» Погосян — ему: «Так чего ж ты слезишь, папаша? Радоваться надо!» Абрамкин — ему: «Оплакиваю сына-старшака, друзей, товарищей, которые не дожили... Да и с радости тоже плачут...» Толя Кулагин выкрикивает: «На радостях петь будем! И пить! За великую Победу!» И вдруг голос сержанта Симоненко, парторга: «Ребята, кладбище, братские могилы!» — шум утихает. Солдаты гуськом заходят за ограду, останавливаются у фанерных обелисков с пятиконечной латунной звездой, снимают пилотки; ветер шевелит русые, черные, каштановые, рыжеватые, седые волосы на склоненных, понурившихся головах; кое-где просвечивает и плешина. Первым поднимаю голову:

— Хлопцы! Это мы прощаемся с однополчанами. Мы скоро уедем отсюда, а им вечно лежать в немецкой земле. За ее освобождение они отдали свою жизнь. Мы, живые, никогда не забудем мертвых...

— Гад будет тот, у кого память дырявая,— говорит Логачеев.

Я командую:

— Драчев, разлей водку!

— Слушаюсь, товарищ лейтенант! — Из вещевого мешка ординарец достает фляжки и бутылки, плескает в подставляемые и стучащие друг о друга алюминиевые кружки. Молча пьем горькое вино Победы. Вытаскиваю из кобуры пистолет ТТ, вскидываю руку и стреляю вверх; слабый хлопок — одиночный выстрел. Дую в канал ствола, заглядываю туда, прячу пистолет в кобуру. Говорю, позвякивая орденами и медалями:

— Хлопцы, это был мой последний выстрел!

— Точно, товарищ лейтенант! Чтоб нам всем больше не стрелять боевыми! — Это Филипп Головастиков, и у него на гимнастерке позвякивают ордена и медали.

Вот такое воспоминание. Выстрелить еще придется, и не раз. И не холостыми. Воспоминанием своим я ни с кем не делюсь. Воздержимся от разговоров насчет стрельбы боевыми. Будем говорить не о наступлении, а об обороне.

Говорили про позиционную оборону, а на полевых учениях наступали и наступали, прорывая глубоко эшелонированную оборону врага. Особо налегали на рукопашный бой. Раньше, когда основным оружием пехотинца была винтовка с трехгранным штыком, занятия назывались — по штыковому бою. Как боец довоенного призыва, точнее 1939 года, подтверждаю: на этих занятиях под городом Лида чучел мы искололи своими штыками бессчетно. Потом пришел автомат, с середины войны их было все больше,— с автоматом воевать, известно, веселее. Хотя известно также: пуля — дура, штык — молодец. Изречение приписывается Суворову, но, уважая генералиссимуса Суворова, все-таки не могу согласиться с ним: пули, вылетающие из автомата очередями, отнюдь не дуры, они знают, куда им попадать. А штыков теперь мало, потому что и винтовок меньше: автомат потеснил. Жаль, в начале войны их не было, автоматов. Говорят, лишь на погранзаставы по автомату выдали. Да, кое-чего у нас перед войной не было в изобилии.

Имею в виду не только материальные категории, но и моральные. Не было, например, ненависти к врагу, какой она должна быть, в полный накал, ежели этот враг не сегодня завтра нападет на тебя. Любовь к Родине была, а ненависти к врагу не было. Впоследствии с войной появилась. Японцы ведь тоже собирались ударить нас ножом в спину — всю войну продержали на границе Квантунскую армию,— а ненависти в полный накал я к японцам, увы, не чувствую. Хотя разумом понимаю: самураи не лучше гитлеровцев. Может, когда дойдет до д е л а, ненависть вспыхнет, как сухой хворост от высеченной кресалом искры.

Возвращались с полевых занятий — шесть часов под монгольским солнцепеком, среди накаленного песка и гальки,— надо было поспешать в расположение к обеду. Но то ли аппетит у солдат был неважнецкий (жарища адова), то ли устали от переползаний, перебежек, окапываний, воплей «ура» — батальонная колонна растянулась, местами, я бы сказал, порвалась. Как ни намотался я сам, а углядел на холмике: нам навстречу спускается несколько «виллисов». Это неспроста, подумал я, «виллисы» в таком количестве зря не ездят, и дал команду, чтоб рота подтянулась, заправилась — словом, привела себя в божеский вид. Чутье меня не подвело. Когда «виллисы» поравнялись с головой колонны, они остановились, комбат поковылял докладывать. А колонна шла дальше, и моя рота — и я, естественно,— приблизилась к «виллисам» вплотную. Матерь божья, матка боска, елки-моталки, в одном «виллисе» сидел маршал Василевский, в другом — маршал Малиновский. Кто ж их не знает! По фотографиям, конечно. А тут я воочию увидел двух прославленных полководцев. Оба они были в комбинезонах, но фуражечки, фуражечки выдавали высокое, высочайшее начальство! Нюх не подвел! Коленки у меня враз ослабели, пот потек еще пуще, однако я бы как-нибудь протопал мимо, если б не окликнул маршал Василевский:

— Лейтенант, подойдите!

Я замер, затравленно озираясь. Василевский повторил:

— Подойдите, лейтенант!

Наконец я обрел дар речи, сказал, заикаясь:
— Вы мне, товарищ Маршал Советского Союза?
— Вам, вам.

Неверным, качающимся шагом подошел к «виллису», вскинул пятерню к виску:

— Товарищ Маршал Советского Союза! Лейтенант Глушков по вашему...

Он не дал договорить:

— Товарищ Глушков, вы кто по должности?

И тут у меня от волнения язык как заклинило. Пытаюсь ответить, и ни бе ни ме. Губами шлепаю да таращусь. Вмешивается комбат:

— Лейтенант Глушков — командир первой роты вверенного мне батальона...

— Понятно. — Василевский говорит тихо, комнатно. — Рота идет хорошим строем. В отличие от других, товарищ капитан.

Комбат лепечет:

— Виноват, товарищ Маршал Советского Союза...

— Александр Михайлович,— вмешивается в разговор маршал Малиновский,— мне кажется, лейтенант Глушков дрейфит перед начальством. А, Глушков?

Я непроизвольно киваю. Малиновский ободряюще смеется. Василевский говорит:

— Не надо тушеваться, товарищ Глушков... А за порядок в роте благодарю.

У меня прорезается голосочек:

— Служу Советскому Союзу...

— О том, что нас встретили, не нужно распространяться. Ясно? — Малиновский обращается и к комбату, и ко мне. Комбат отвечает по-уставному: «Слушаюсь!» Я киваю, что тоже означает — слушаюсь.

Усмехнувшись, Василевский кивает нам, водителю говорит:

— Поехали.

«Виллисы», газанув и напылив, укатили. Мы с комбатом некоторое время постояли, будто приходя в себя. Капитан сказал сердито:

— Чего ж ты, Глушков, не мог как следует доложить... и вообще разговаривать?

— Робею перед генералами. А тут — маршалы...

— Где не надо, ты смелый... Просто-таки подвел...

— Да чем же я подвел, товарищ капитан? Мне вон даже спасибо сказали...

— А мне втык сделан. И кем? Маршалом Василевским! Позор...

— Да ничего страшного, товарищ капитан. Ну, маленько растянулся батальон, что за грех...

— Тебе не страшно, ты смелый. — Комбат сильно раздосадован. — Ладно, нагоняем строй...

Он прихрамывает, но обходится уже без палочки, шагает широко, я еле поспеваю. Семеню и думаю: «Ну и встреча! Маршалы — как снег на голову! Так бы до конца жизни не увидел, а тут подвезло!» Потом думаю, что невольно подвел комбата, что и моя рота растянулась, плелась кое-как, да вовремя углядел «виллисы», сориентировался. В упреке комбату, в благодарности моей персоне есть нечто несправедливое, и в этой несправедливости повинен я сам. Одним словом, нескладно получилось. И еще стыжусь своей робости. До коих же пор можно трепетать перед высоким начальством? Уважай его, цени, но и блюди свое достоинство, ты же офицер-фронтовик, вся грудь в орденах и медалях!

Буду блюсти. Но что прославленных полководцев повстречал — здорово! Разумею, что встреча случайная и разговор несущественный — маршалы вообще могли проследовать мимо,— и все-таки здорово! Между прочим, под командованием маршала Василевского наш Третий Белорусский штурмом брал город-крепость Кенигсберг. В начале апреля это было, сейчас начало августа. А в качестве кого здесь маршал Василевский и маршал Малиновский? Припомнил, как штурмовали Кенигсберг и чего это нам стоило, и почувствовал тревогу. И уверенность: коль Василевский здесь, война скоро. Так прочерчивалась прямая от Кенигсберга до маньчжурской границы. Да, война вот-вот...

Иногда тревожно задумываюсь: как оценят нас и свершенное нами последующие поколения, те, что народятся после войны? Поймут ли нас, разделят ли наши радости и печали, веру и муку? Скажут ли: «Они поступали так, как поступили бы и мы»? Скажут ли?

Какой-нибудь потомок примется распутывать мою жизнь, копаться в фактах, обстоятельствах, подробностях. Примется ли он ковыряться в том, что накопится после двадцати четырех, я не уверен: вероятно, это для него будет менее интересно. Потому что в послевоенные годы мы станем все больше и больше отличаться друг от друга, разные станем. А сейчас похожи друг на друга, и в этом смысле я типичен, выражаю свое время. Путаное рассуждение? Ведь и разноликость тоже характеризует эпоху.

Как потомок оценит, к примеру, тот факт, что я нечасто вспоминаю о самом близком мне человеке, о маме, расстрелянной гестаповцами в Ростове? Как оценит мою отчужденность от отчима, неплохого человека, невинно арестованного и канувшего в безвестность? Мое раздвоенное, невозвышенное, что ни на есть земное чувство к Эрне, к немке? Прямолинейность, категоричность, горячность, взбалмошность? Преувеличенное представление о собственной персоне?

И многое другое как оценит потомок? Предвижу: без знака плюс. Есть, конечно, во мне и кое-что положительное, о чем я, кстати, не прочь лишний раз подумать. Я склонен к крайностям? Увы, и это бросит на весы грядущий судия...

На эту тему при случае (а вернее, без случая, в наинеподходящей обстановке, на привале после продолжительного перехода) мы обменялись мнениями с Трушиным. Я сказал:

— Знаешь, Федор, я иногда думаю...

Трушин перебил, усмехаясь щербато:

— Думать надо всегда, милый друг!

— Да погоди, я серьезно...

— О, серьезно? Ну, давай...

— Знаешь, я вот задумываюсь... Мы, то есть наши современники, наши поколения, идем по колено в крови... К победе идем, к мирной, лучше, чем до войны, жизни... Завоюем эту жизнь, может, не столько для себя, сколько для будущих поколений... Так вот, думаю: как отнесутся те поколения к нам, с какой меркой подойдут, по справедливости ли оценят пережитое нами и что это будет за оценка...

— А мне плевать на ту оценку,— сказал Трушин, и показалось, что он и впрямь хочет сплюнуть. — Мне важней, как мы сами оценим совершенное нашими руками! Важно также, как меня, понимаешь, меня оценят мои, понимаешь, мои товарищи по строю!

— Это, конечно, важно,— сказал я. — Однако связь поколений не прерывается...

— Надо, чтоб не прервалась! — Трушин свел к переносице брови — лицо словно потемнело, развел — лицо словно осветилось. — Тут я малость погорячился, подчас загибаю вроде тебя, милый друг... Понятно, мне не наплевать на суждение потомков... Надеюсь, это будет суждение, а не осуждение... И все-таки гораздо важней, как мы сами себя оценим!

— Возможно,— сказал я. — Лишь бы оценить без предвзятости, без субъективизма...

— Да! Хотя живущим трудно быть объективными...

— Видишь...

— Вижу! Но с другой стороны, кто ближе знаком с нами, чем мы с тобой? А самокритичности у нас

в достатке! Чего-чего, а данного порока время в нас напихало! — Он улыбнулся, я кивнул.

Внезапно Трушин понизил голос, чтобы не услышал ни Симоненко, ни кто другой:

— Знаешь, еще в эшелоне припомнил одну давнюю историю и после уже несколько раз вспоминалась... История сорок второго года...

Я приподнялся. Трушин перешел на свистящий шепот:

— Отчего припомнилось-то? Так, с бухты-барахты... Но слушай! Было это летом сорок второго, у переправы через Донец. Наш полк три дня и три ночи удерживал ее, дал возможность остальным частям переправиться за реку. Потом и мы покатились к Донцу, кого догоняли немецкие танки — давили, даже не стреляли из пулеметов, на гусеницах — человечье мясо... Бойцы бросались в воду, кто плыл саженками, кто держался за конский хвост, кто на доске, на бочке, кто как. Я был на пару с землячком Васей Анчишкиным, надежный хлопец... В лозняке видим: двое красноармейцев дерутся из-за бочки. Который повыше ростом оттолкнул другого, скатил бочку в воду и поплыл. А тот, маленький, вдруг повернул от реки, побежал к кустам, в сторону немцев. Вася Анчишкин кричит: «Федор, он же улепетывает, подлец, в плен!» И меня как ожгло: точно, перебегает к немцам! Вскидываю автомат, очередь вдогонку... Упал тот боец, а мы с Анчишкиным бросились вплавь, еле выбрались: танки и самоходки лупили с берега прямой наводкой. Прошло сколь времени, и вот теперь вспомнил того маленького бойца, который упал после моей очереди, и думаю, не ошибся ли я? В плен ли он бежал сдаваться? Может, что другое? Обстановка тогда была тяжелая, сумасшедшая, в горячке я срубил парня, а имел ли право на это? Уверяю себя: имел, но в душе что-то царапает...

Я молчал, и Трушин произнес погромче:

— Молчишь? Это хорошо, никаких твоих слов мне не надо. Сам разберусь с этим воспоминанием...

А я думал о том, что на фронте всякое бывало — и своих расстреливали в горячке и без горячки, по приговору трибунала, всякое случалось, жестокое, необратимое, неизбежное или же поспешно-ошибочное. Сама война своей крайней жестокостью обусловливала эту жестокость.

У меня осталось воспоминание от сорок первого — я не люблю, когда оно приходит. Сейчас пришло, вызванное рассказом Феди Трушина. Распроклятое лето того распроклятого года. Жара, пыль. Остатки нашего стрелкового полка бредут по дороге, измученные, голодные, на плечах — части разобранных станковых пулеметов. Малый привал подле лесочка. Валимся, как скошенные пулеметной очередью. Лежу и вдруг замечаю: на опушке, на фоне зеленой листвы что-то красное, какое-то большое красное пятно. Необъяснимая тревога заставляет меня, полуживого от усталости и голода, встать и подойти поближе. Зачем понесло — до сих пор не прощу себе. Оказывается, заседание военного трибунала, красное — это скатерть на столе. За столом — полковник и два майора; неподалеку вымоина, в ней три бойца, запыленных, грязных, как и мы, но без поясов. Они глядят на небо, на деревья, на полевые цветы, и меня ударяет догадка: прощаются с белым светом! Вымоину окружили пограничники: в руках винтовки с примкнутыми штыками, направлены на арестованных.

К столу подходит паренек лет двадцати. Трибунальцы спрашивают у него фамилию, год рождения и прочие анкетные данные. А потом спрашивают: «Где тебя задержали?» Парень отвечает: «На дороге». — «Один был?» — «Да». — Почему?» — «Я был шофером. Машину разбили, сгорела.» — «Куда шел?» — «Хотел пристать к какой-нибудь части, да не получилось». — «А у других получается. Струсил?» — Парень молчит. Трибунальцы переглядываются, перешептываются и зачитывают приговор: трусость, дезертирство, расстрел. Так же быстро осуждены и двое других.

Остатки нашего полка двигаются дальше. Я иду и думаю: «Жестокость? Да. Оправданная? Не знаю. Хочется верить: оправданная, ведь отступаем, надо как-то остановить, полковник с майорами ведают, что творят». Но думаю также: если даже они струсили, надо было вернуть их в строй, чтобы они дрались, искупали кровью свою вину, на поле боя.

Мои мысли перебил Федин голос, и я охотно вернулся к действительности: прошлое есть прошлое, тем более такое, о каком лучше бы забыть.

— После войны настрогаю кучу ребятишек,— сказал Трушин.

Это я уже от него слышал. Повторяется, забывши? Или чтобы сменить тему? Взгляд у Феди отсутствующий, потусторонний. Не нравится мне этот взгляд.

11

Халхин-Гол

Инспектируя войска, они проехали порядочно — на восток, на восток, прежде чем остановились в степи перекусить, попить чайку. Можно было завернуть в какую-нибудь часть — окрест по сопкам землянки и палатки, да и сопровождавший их командарм то робко, то настойчиво приглашал отведать его кухни, но Василевский решил: здесь, на воле, в укромном травянистом распадке. Машины свернули, притормозили. Пока маршалы разминались и мыли руки, был водружен большой, как бы пляжный, тент, под ним — походный столик, брезентовые стульчики. Маршалы сняли фуражки: лоб вверху — не тронутый солнцем, внизу — загорелый, как и у любого, кто находился в эти дни в монгольских степях.

Василевский с недоверием покосился на маленький, складной стул, а Малиновский сказал:

— Александр Михайлович, не сомневайтесь, выдержит.

Василевский осторожно сел, придвинулся к столу: бутерброды с колбасой, вареная курица, сыр, помидоры, огурцы, сдобные булочки. Запивали крепким

горячим чаем — пар над кружками исчезал мгновенно — и неторопливо разговаривали.

Вытирая выступившую на лбу испарину, Василевский говорил:

— Наши с вами рекогносцировки, Родион Яковлевич, ознакомление с войсками, обсуждение обстановки с командованием армий, корпусов и дивизий вашего фронта подтверждают: необходимо внести изменения в ранее принятые решения и сократить сроки выполнения основных задач, предусмотренных директивой Ставки... И ваше мнение таково?

— Так точно... — ответил Малиновский и подумал: за эти дни пребывания в войсках сколько лиц прошло перед ними — командиры разных степеней на всевозможных совещаниях, на командно-штабных и войсковых учениях — нескончаемая череда лиц. Пехотинцы, танкисты, артиллеристы, минометчики, саперы, связисты, авиаторы — и с каждым родом войск знакомились детально, выясняли, насколько они готовы к наступлению, какие меры надо принять, чтобы повысить боеготовность, и принимали эти меры незамедлительно. Особое внимание уделяли уточнению ближайшей и последующих задач. Голова буквально пухла от забот!

— Мне думается, форсирование Большого Хингана танковой армией Кравченко возможно не на десятый день операции, как планировалось, а не позднее пятого дня. Не позднее!

— Я согласен, Александр Михайлович...

— Можно и нужно в значительной степени сократить сроки выхода общевойсковых армий на Маньчжурскую равнину... Овладеть Хайларским укрепрайоном войсками Тридцать шестой армии реально не на двенадцатый, а на десятый день операции... Думаю, на пять дней сократим сроки и для войск, действующих на правом фланге, в частности для Семнадцатой армии... Неплохо бы ужать и срок выхода конно-механизированной группы Плиева в районы Калгана и Долоннора...

— Ужмем! Объективные данные за это...

— Именно объективные! Субъективизмом, волевыми решениями тут не должно и пахнуть... Дальневосточные фронты тоже повысят темпы наступления... Взвесим все основательно и доложим в Ставку... Надеюсь, она утвердит наши предложения...

«Никогда не скажет — «мои»,— подумал Малиновский, промокая носовым платком лицо и шею: чай утолял жажду, но незамедлительно выходил потом.

Режущий свет солнца. Неподвижная духота, редкостный час почти безветрия. Каменистые и песчаные сопки. Барханы, барханы — кое-где в полыни и ковыле, кое-где голые, сыпучие. Песок — словно застывшие волны. Ковыль при ветре тоже ходит волнами. Как на море...

Василевский сказал:

— Это заботы, так сказать, сухопутные... Но нам же, Родион Яковлевич, предстоят и морские операции. Как известно, после начала Дальневосточной кампании планируем высадку десантов в Корее, на Южном Сахалине, на Курильских островах... Морской театр составит — с севера на юг — четыре тысячи миль! Представляете?

— Представляю, Александр Михайлович! — ответил Малиновский и подумал: «А моему фронту наступать в полосе шириною в две тысячи триста километров! Тоже что-то значит!»

— Мне и за флот отвечать перед Ставкой. За исход всей кампании — на суше, на море и в воздухе...

«Перед Сталиным отвечать... А там, где отвечать, всегда говорит о себе»,— подумал Малиновский, напряженно слушая Василевского.

Тот налил из термоса еще чайку, отхлебнул, задумался. Потом сказал с той же задумчивостью:

— Флотским тяжеленько придется... Сложность в том, что морской театр разделен на зоны действий советского Военно-Морского Флота и американского. Зоны определены так, что в Японском море разграничительная линия проходит всего в ста — ста двадцати милях от нашего берега, а в Беринговом проливе кое-где даже в пятнадцати — двадцати милях! Это исключало действия нашего флота на всю оперативную глубину противника, существенно затрудняло ведение морской оперативной разведки... Заметьте: ограничение действий Тихоокеанского флота позволяло японским кораблям появляться у советских берегов, угрожая и флоту, и сухопутным войскам на приморских направлениях...

— Как же мы согласились на такое разделение морского театра войны?

— Учитывая заверение правительства США, что их военно-морские силы, а они мощны, развернут активные действия на море и тем самым будут способствовать наступательным операциям советских войск... Но лично я, между нами говоря, не очень верю этим обещаниям...

— Почему, Александр Михайлович?

— Мне кажется, со вступлением в войну Советского Союза американское правительство будет стремиться как можно скорее перебросить свои войска для оккупации собственно Японии. Все помыслы и средства нацелят на это... Да и вообще, как известно, американцы не отличаются обязательностью — как союзники... Вот вам свежий пример, опять-таки дальневосточный... Американцы выставили минные заграждения, в том числе и у корейского побережья — это наша операционная зона. Нам сейчас надо знать, где выставлены мины, чтобы не напороться. Запросили американцев. И что же, как вы думаете, они ответили? Ответило морское министерство: да, у Сейсина и Расина в различное время выставлено свыше пятисот магнитных и акустических мин, однако координаты этих заграждений сообщить не можем, так как мины выставлены не флотом, а американской авиацией... Ответик?

— Да, излишней обязательностью наши союзники не обременены,— сказал Малиновский. — Меня крайне возмутило: во Владивостокский порт из Америки были доставлены грузовики в разобранном виде, наши шоферы и ремонтники стали их собирать, и тут-

то ЧП: при вскрытии упаковки выявилась недостача нескольких тысяч кузовов!

— Мне докладывали...

— Что это?

— Воровство. Или хуже...

— Наверное, хуже, Александр Михайлович... Пришлось срочно изготовлять кузова. Забайкальский фронт для этих работ выделил десять тысяч человек.

— Да и другие фронты не поскупились...

Они помолчали. Допили чай. Был убран столик. Но маршалы продолжали сидеть на хилых брезентовых стульчиках. Малиновский барабанил пальцами по подлокотникам, посматривал на Василевского: еще что-нибудь скажет? Он был признателен за то, что сдержанный, суховатый, порою и замкнутый Главком разговорился, и тон его был доверительный, товарищеский.

И Родион Яковлевич вдруг почувствовал: не касающиеся будто впрямую его, командующего Забайкальским фронтом, заботы далеких моряков-тихоокеанцев как бы высветили и его собственные, сугубо сухопутные заботы и помогли лишний раз понять: Забайкальский фронт — часть грандиозной военной машины, другие ее части — Дальневосточные фронты, флот и флотилии, воздушные армии и корпуса. И чтобы эта машина сработала на полную мощность, все ее части должны быть отлажены, и, конечно, важнейшая — Забайкальский фронт... Показалось, Василевский задремал: веки опустил, утопил себя в брезентовом стульчике, не шевелится. Устал. Да и он, Малиновский, притомился: какой день по войскам да по войскам. Но Александр Михайлович тут же открыл глаза и ясным голосом произнес:

— Родион Яковлевич! Находясь поблизости от Халхин-Гола, грешно было бы не навестить места, памятные по тридцать девятому году.

— Грешно,— согласился Малиновский. — Предлагаю поехать не откладывая. Километров около ста всего-то...

«Виллисы» заурчали, выбираясь из распадка. Ветровые стекла сверкнули отсветом, песчаная пыль потянулась хвостом за машинами. На кочках, на вымоинах встряхивало, и Малиновский хватался за скобу. Похватаешься! Ежели тебя так вот швыряет туда-сюда. За эти дни намотали на колеса сотни километров, и ушибленные бока ныли, и поясница ныла от многочасового сидения в «виллисе».

К местному пейзажу попрывик. Безлесные сопки и барханы, затопленные солнцем степи. Пески, солончаки, соленые озерца. Полынь, ковыль, в низменностях — камыш. Населения мало, зато комаров — в изобилии. И чем ближе к реке, тем их больше и больше, тучей на ходу атакуют машину, кусаются, собаки. Держась правой рукой за скобу, левой Родион Яковлевич шлепал себя по лицу, по шее, обмахивался платком. Водитель сочувственно проворчал:

— Злые, ровно самураи...

— А ты откуда знаешь, какие самураи?

— Догадываюсь, товарищ командующий!

Твои догадки, шофер, подумал Малиновский, недалеки от истины. А со злым противником и воевать надо зло, я бы сказал — воевать надо с веселой злостью. Побывал в войсках и убедился: боевой дух повсюду высокий, личный состав готов к наступлению. Будем наступать! Наши козыри — внезапность удара и стремительность подвижных передовых отрядов, не боящихся оторваться от главных сил, от тылов. И еще обстоятельство: впереди общевойсковых соединений пойдет не только гвардейская танковая армия Кравченко, но и другие танковые соединения и части фронта. Чтобы как можно быстрее достичь Большого Хингана, форсировать его и выйти на Маньчжурскую равнину. Тем самым упредим японцев. Вот достоверные данные, включая данные агентурной разведки: две трети Квантунской армии за Хинганом, треть — между государственной границей Маньчжоу-Го и Хинганом, войска прикрытия. Разгромить эти войска и рвануться к перевалам Большого Хингана,— кстати, хребет примерно равноудален и от границы, и от главных сил Квантунской армии. Расчет японского командования: войска прикрытия изматывают наступающие войска и задерживают их продвижение в глубь Маньчжурии, главные же силы Квантунской армии, маневрируя, наносят контрудары в нужных направлениях, вынуждают нас к обороне, а затем, пополненные стратегическими резервами, переходят в контрнаступление, вторгаясь в пределы советского Забайкалья и Дальнего Востока. Это не расчет, а, скорее, просчет. Ибо у японского командования явно ошибочные — в сторону занижения — сведения о советских войсках на Дальнем Востоке и в Забайкалье, об их численности, оснащенности техникой и боевой выучке. Вдобавок японцы ошибочно полагают, что наступление Красной Армии может начаться не ранее сентября — октября, когда в Маньчжурии заканчивается сезон дождей. Нет, господа, мы не будем ждать сентября — октября...

Потом Малиновский подумал: Александр Михайлович назвал места боев на Халхин-Голе памятными не потому, что они ему лично памятны, в тридцать девятом его там не было, нашей армейской группой командовал Жуков, а потому, очевидно, что опыт тех боев пригодился Красной Армии, хотя и был локален. Это был инцидент, не переросший в войну. Великая Отечественная затмила здешние события тридцать девятого, и, если сейчас сравнить то, что было на Халхин-Голе, с тем, что будет в Маньчжурии, масштабы окажутся несоизмеримыми, лишь противник тот же — квантунцы, лучшие в японской армии войска...

Чем ближе к Халхин-Голу, тем обильнее пески; машины иногда буксовали, взбираясь на бугры, поднявшийся ветер переметал укатанную колею бродячими песками, а вот комаров ничто не брало — ни ветер, ни папиросный дым, ни мазь, что же будет в речной пойме! Сожрут, окаянные! Родион Яковлевич переменил руки: левой взялся за скобу, правой шлепал комарье. Водителю говорил:

— Ты кури, кури, не стесняйся...

Когда солнце стало алеть и опускаться, на скрещении проселков у высохшего озерка их встретил

комдив, усатый бравый генерал-майор, рапортовавший столь зычно, что Малиновский поморщился. Василевский же как ни в чем не бывало пожал руку генералу, а затем полковникам и майорам, а затем и солдату, стоявшему возле машины комдива,— шофер или связист. Солдат покраснел, как маков цвет, растерянно затоптался. Все переглянулись, а Малиновский неприметно улыбнулся: знал, что маршал Василевский при встрече здоровается за руку со всеми, кто оказался рядом, и это было не показным, а естественным для Александра Михайловича с его воспитанностью, тактом, демократизмом, уважительным отношением к людям. Недаром бытует армейская молва: ни при каких ситуациях не накричит, не оскорбит, не унизит человеческого достоинства. Настойчив, последователен, однако не резок. А я, маршал Малиновский, в крайних ситуациях бывал резок, не отпираюсь. Деликатность Александра Михайловича, разумеется, не означает, что он добряк и тихоня. О, характер есть, и очень волевой! Я бы сказал — волевой, но не шумливый. И еще одно обстоятельство: исключительно объективно, непредвзято относится к окружающим. Мне этой объективности, может быть, не хватает подчас...

Надели накомарники, фуражки сменили на пилотки — все-таки будут близко от границы, нехитрая, да маскировка,— Василевский вполголоса сказал Малиновскому:

— Кирилл Афанасьевич Мерецков ездил в Приморье на рекогносцировку на нашу погранзаставу, так надевал форму рядового пограничника... С превеликой натугой влез в шаровары и гимнастерку! Влезем ли мы, Родион Яковлевич?

— Нам не придется этого проделывать, поскольку погранзаставы здесь монгольские,— улыбнулся Малиновский.

Слышавший это комдив тоже улыбнулся.

Долина Халхин-Гола широка и местами заболочена, в щетине осоки и метелок камыша. Река — ширина от пятидесяти до ста с лишним метров — сильным течением ворочает на перекатах гальку, в омутах крутит воронки. Вода желто-коричневая и, как говорит комдив, холодная. Бравый усатый генерал был определен в гиды — поскольку его части тут дислоцировались,— показывал и рассказывал, стараясь приглушить свою зычность.

Маршалы осмотрели западный берег Халхин-Гола, задержались у центральной переправы, где когда-то погиб знаменитый комбриг Яковлев, переехали на восточный, осмотрели полуобваленные окопы, траншеи, ходы сообщения, командные пункты — в песке попадались патроны, гранаты, каски, пилотки, широкополые панамы: в летнюю жару тридцать девятого в войсках были и такие вот панамы с дырочками. Посетили сопки Песчаную, Палец, Зеленую, Безымянную, Ремизовскую, где были наиболее ожесточенные бои.

— Командир танковой бригады Яковлев и командир стрелкового полка Ремизов сражались как герои и погибли геройски,— сказал комдив с нотками торжественности.

— Командиры хорошие и сражались храбро. Но погибли... — Малиновский выдержал паузу. — Георгий Константинович Жуков свидетельствует: погибли по неосторожности... Майор Ремизов расположил НП на простреливаемой местности, и, когда говорил по телефону, пуля угодила ему в ухо... И комбриг Яковлев был толковый командир и смелый, а погиб как-то нелепо... В район центральной переправы прорвалось около трехсот японцев. Яковлеву было приказано разгромить эту группу. Он стал собирать бойцов для атаки, забрался на танк, оттуда командовал. Снайпер снял...

— Не удивляйтесь, генерал,— мягко произнес Василевский. — Так оно и было. Мы с маршалом Малиновским не участвовали в халхин-голских событиях, однако военную историю изучали... Из прошлого надо выводить кое-что для дел нынешних... Надо, например, иметь в виду: наблюдательные пункты устраивать разумно, без излишнего риска и вообще в бою офицерам особенно не высовываться, памятуя о снайперах. В квантунской армии снайперам, стрелкам из летучих отрядов отводится видная роль...

В приграничье Василевский и Малиновский понаблюдали в стереотрубу за японской территорией — безлюдно, никакого движения,— потом провели на командном пункте дивизии совещание накоротке и уж после этого — на монгольскую погранзаставу. На полпути между КП и заставой наткнулись на солдат стрелкового взвода, что-то выкапывавших из песчаного откоса.

Командир взвода, щуплый, востроносый младший лейтенант, встал по стойке «смирно» и, прижав лопату к бедру, отрапортовал: обнаружены останки бойцов, по-видимому, участников сражения в тридцать девятом году.

— Сколько их? — спросил Малиновский.

— Трое.

— Безымянная могила? — спросил Василевский.

— Могилы, как таковой, не было. Даже бугорка не было. Мы случайно увидали: торчит рукав гимнастерки. Вот, взялись за лопаты...

— Документы при них есть? Письма?

— Никак нет... Рядышком с останками газету нашли. Называется «Героическая красноармейская».

— Выходила в дни боев на Халхин-Голе,— сказал Малиновский.

— Перехороните с воинскими почестями,— сказал Василевский, обращаясь к комдиву. — Поставьте обелиск со звездой, как положено...

— Слушаюсь! — отчеканил комдив.

— И митинг проведите. Они заслуживают, чтоб их помянули добрым словом...

— Слушаюсь!

Глядя на останки красноармейцев, Малиновский подумал: шесть лет назад сражались мы с квантунцами на Халхин-Голе, годом раньше, летом тридцать восьмого,— на озере Хасан и вот теперь опять на дворе июль...

На пограничной заставе представились: «Генерал-полковник Васильев... Генерал-полковник Морозов...» Начальник заставы, не по-монгольски рослый капитан, в лицо их не знал, хотя многие монгольские генералы и офицеры узнавали Василевского и Малиновского по газетным фотографиям, по кадрам кинохроники. Не говоря уже о советских генералах, офицерах и даже солдатах: при личном общении засекретить себя было сложно. Но тут, как говорится, сработало.

Капитан, сносно владевший русским, рассказал о численности и вооружении заставы, о протяженности участка, о характере службы, о нарушениях границы. С его слов: нарушителей в июне — июле стало больше, японская агентура — это и японцы, и маньчжуры, и баргуты, и китайцы — пытается проникнуть сюда и разведать обстановку. Капитан скромно подчеркнул: безнаказанных нарушений нет. Это значило: все пробравшиеся из-за кордона схвачены и обезврежены.

— Молодцы пограничники,— сказал Малиновский.

Василевский поинтересовался:

— Каковы виды пограничных нарядов?

Капитан перечислил: конные и пешие парные дозоры, часовые границы, по два-три человека — секреты, засады, заслоны, то есть наряды те же, что и на советских заставах. Василевский еще спросил:

— Служба по восемь — десять часов... Как выдерживают, учитывая еще и комаров?

— Монголы привычны, товарищ генерал-полковник. Терпеливы, выносливы... Будет приказ, так и сутки просидят в плавнях!

— Это верно,— сказал Малиновский. — Судя по всему, монголы — отличные солдаты, на Халхин-Голе себя показали... Кстати, я сам убедился: нашим современным оружием и техникой овладевают быстро и основательно, хотя грамотешка хромает...

— То ли еще было, товарищ генерал-полковник! — сказал капитан. — Сейчас читать умеют, многие пишут... А во время боев на Халхин-Голе, мой предшественник рассказывал, сплошь неграмотные были. И что удивительного? В Монголии в тридцатых годах три процента детей посещали школу, а то и меньше... Да, в свободный от службы час пограничники-новобранцы и учились грамоте... Клали на землю доску, смазанную разведенной в масле сажей. Начальник заставы чертил на ней палкой буквы, бойцы повторяли... Потом был бой с японцами... Имена павших товарищей были первыми словами, которые вывели оставшиеся в живых...

Застава была расположена на крутом скате, да еще залезли на десятиметровую вышку — обзор что надо, но поднятая ветром песчаная кисея ухудшала видимость; песок заносило и сюда, на вышку, он сухо шуршал о доски. Малиновский сказал:

— Монгольские дожди.

Начальник заставы живо откликнулся:

— Товарищ генерал-полковник, дожди еще будут! Самые настоящие, проливные!

— Не сомневаюсь, что будут...

Река текла внизу, под обрывом, на правом фланге, граница проходила по фарватеру. Маршалы в бинокли разглядывали сопредельный берег, капитан пояснял:

— В последние дни японцы отселяют вглубь местное население, разрушают мосты, дороги...

— Тактика выжженной земли. Как у гитлеровцев,— сказал Малиновский и подумал, что скоро его войска будут уже по ту сторону границы.

А Василевский подумал: «Японцы хотят создать нам дополнительные трудности. Для нас дороги, особенно железные,— вопрос вопросов... Нельзя допустить — и опыт войны на Западе этому учит,— чтобы в Маньчжурии противник разрушал железнодорожные пути, тоннели, мосты. Так было, например, в Белоруссии летом сорок четвертого. Немцам удалось тогда вывести из строя железные дороги, это вызвало серьезные трудности с нашими перевозками... Чтобы воспретить противнику разрушить при отходе железные дороги, здесь, на Дальнем Востоке, все фронты должны выделить специальные самолеты и подвижные части для борьбы с диверсионными отрядами...»

Заночевать решили на командном пункте армии — тем паче что командарм к концу дня утратил робость и был целеустремленно напористым:

— У меня сможете отдохнуть! Банька имеется!

Смыть с себя пот и грязь было привлекательно, и Василевский сказал:

— Если комариков поменьше, чем здесь, поедем.

— И если квас будет,— сказал Малиновский.

Командарм поспешно заверил: так точно, комарья меньше, а квас отменный! Тут же бросился звонить на КП. Сияя, доложил Василевскому, что в бане их ждут через полчаса.

— Но мы еще не меньше часа здесь проработаем. Плюс дорога,— сказал Василевский. — А люди будут ждать...

— Подождут, товарищ маршал!

— Нет, неудобно... Позвоните и извинитесь за задержку...

— Слушаюсь!

Смущенный генерал побурел, а Малиновский усмехнулся: усердие командарма и обязательность Главкома как бы столкнулись...

Завершив работу, поехали к командарму. Банька была недурна, квасок холодный, вкусный. Маршалы сидели в палатке с марлевым пологом, потягивали из немецких пивных кружек и вспоминали Халхин-Гол.

— Что на Халхин-Голе было необычайным, так это крупнейшие воздушные бои. Я, Александр Михайлович, и на фронтах Великой Отечественной, пожалуй, таких не видывал... До двухсот самолетов сходились в трехъярусной карусели!

— И я такое не часто видел, Родион Яковлевич...

— Всего японцы потеряли в тех сражениях свыше шестисот самолетов! Это и понятно: летчики-истребители у нас были первоклассные, имевшие опыт боев в небе Китая, Испании... На Халхин-Голе, между прочим, воевал кое-кто из моих знакомых летчиков-«испанцев».

— Японцы тоже стянули сюда своих лучших асов.

— Да! Но с нашими тягаться они не могли. Хотя не отрицаю: храбры, тактически подготовлены, техникой владеют...

— А японский пехотинец? Он стоек, вынослив, дисциплинирован, умрет, но приказ выполнит. Это нам надо помнить... Думаю, по воинским качествам японцы заметно превосходят американцев. Ход сражений на Филиппинах, в Бирме, вообще на Тихом океане веско подтверждает это...

— Да! Американцы значительно превосходят японцев и по численности, и по оснащению техникой, но каждое укрепление, город, остров даются им большой кровью. И как они медленно, я бы сказал, мучительно медленно подбираются к метрополии...

— Родион Яковлевич, нам-то доподлинно известно, что американское командование планирует лишь на ноябрь вторжение на Кюсю, а на март сорок шестого — на Хонсю...

— Несомненно, наша операция в Маньчжурии ускорит события, Александр Михайлович!

— Думаю, ускорит, и еще как...

— Что же касается халхин-голских событий, то Баин-Цаганское побоище произвело в те времена впечатление! Жуков наголову разгромил две императорские дивизии...

— Ну, дивизия у них — это приблизительно наш стрелковый корпус: двадцать одна тысяча штыков, сильная артиллерия. Да еще отдельные полки, охранные и железнодорожные отряды. Словом, можно говорить об уничтожении целой армии. Итог халхин-голских событий не только военный, а и политический. В тридцать девятом японцы убедились, во-первых, в том, что Советский Союз выполняет свои обязательства, в данном случае перед Монголией, а во-вторых, — в силе Красной Армии.

— А каково тогда будет военно-политическое значение разгрома всей Квантунской армии? Тут не пятьдесят тысяч человек — миллион!

— Если быть точным, нам на Дальнем Востоке противостоит около миллиона двухсот тысяч. Последствия разгрома будут далеко идущие, долговременные. И в первую очередь для самой Японии. И если она сумеет посмотреть вперед, а не назад...

— Поможем! — то ли шутливо, то ли серьезно сказал Малиновский. — Не назад, а вперед надо поглядеть и Америке, и Китаю, и всей Юго-Восточной Азии!

— Надеемся, так оно и будет. История — авторитетнейший учитель. Были бы ученики прилежные... Да, еще о халхин-голских событиях... Они показали: японцы любят ночной бой.

— До сих пор эта любовь не угасла!

— Верно. Но рукопашной нынче избегают. После Халхин-Гола психология изменилась, считают: погибнешь от русского штыка — не попадешь в рай... Это нам следует учесть. Учтем также: командование Квантунской армии рассчитывает применить бактериологическое оружие.

— Готовим войска к противохимической и противобактериологической защите, Александр Михайлович.

— От японцев можно ожидать чего угодно, Родион Яковлевич. А чтобы сорвать их замыслы, мы должны нанести сокрушительный удар, спутать их расчеты, посеять дезорганизацию и панику. Чем выше будут темпы наступления, тем успешней выполним свои задачи! Темпы, темпы — опять к этому приходишь....

В штабе Главкома войск Дальнего Востока раздался телефонный звонок. Издалека, из Потсдама, с конференции глав союзных держав, звонил Сталин. Слышимость сверхпохвальная, и через тысячи азиатских и европейских километров до Василевского донесло знакомый, глуховатый и тихий голос:

— Как идет подготовка операции, товарищ Василевский? Нельзя ли ускорить ее начало дней на десять?

Александр Михайлович доложил, что темпы сосредоточения войск и подвоза всего самого необходимого не позволяют сделать этого, и попросил:

— Оставьте, пожалуйста, прежний срок, товарищ Сталин...

Верховный покашлял и ответил совсем тихо:

— Хорошо, оставим старый срок...

И тогда Василевский, не зная причины, по какой Сталин хотел ускорить начало Маньчжурской операции, но, радуясь, что Верховный не стал на этом настаивать, доложил ему: срок проведения самой операции предполагается сократить.

— Хорошо, хорошо, высылайте свои соображения, — сказал Сталин. — До свидания, товарищ Василевский.

— До свидания, товарищ Сталин. — И Василевский услыхал, как Верховный положил трубку.

12

Вдруг прекратились занятия по тактике: начальство посчитало, что мы уже в совершенстве овладели искусством прорывать долговременные, сильно укрепленные позиции противника? Или тут что-то другое? Не лукавь, лейтенант Глушков: конечно, другое. Во-первых, нет предела совершенству, и гоняли бы нас до скончания века, если позволяло бы время. Но, вероятно, время-то и не позволяло, надо делать иное: проверять исправность оружия, получать боевые патроны и гранаты — как говорится, полный боекомплект, приводить в порядок снаряжение, наконец, просто давали людям отдохнуть хотя бы физически.

Был и еще признак — вернейший, что события не за горами: из санчасти выписали всех, кто там кантовался. По западному опыту знаю: перед наступлением хватит болеть, собирай шмутки и дуй в свои подразделения. Ко мне в роту тоже вернулись два гаврика из санчасти, попавшие туда с расстройством желудка.

— Пропоносило и закрепило? — спросил старшина Колбаковский, и солдатики, из молоденьких, лишь смущенно пожали плечами.

— Заместо порошков да пилюль при поносе первеющее средство — водка с солью. Как рукой сымает! — сказал Толя Кулагин.

Старшине это не понравилось. Он смерил Кулагина строжайшим взглядом:

— Ты опять говоришь за водку?

— Так я ж в лекарском смысле, товарищ старшина! Как лечиться ею, распроклятой...

— Обзываешь распроклятой, а тон — ласковый...

— Так я ж вообще негрубый человек, товарищ старшина!

— Товарищ Кулагин, кончай говорильню! — отрубил Колбаковский, и Толя Кулагин пошлепал себя по губам ладошкой, что значило: молчу, молчу.

Не только по тактике — все занятия по боевой подготовке уже не проводились. Зато что ни день — политзанятия, политинформации, беседы, собрания и митинги. На разные темы. Поминали и Японию, самураев, ясно было: чтобы восстановить справедливость и мир, нужно воевать.

Говорили и о возрождении разрушенного хозяйства. С задутыми на Украине домнами Толя Кулагин крупно промазал. Когда ротный парторг Микола Симоненко закончил политинформацию о текущих событиях в стране, Толя Кулагин спросил:

— Товарищ сержант, а на кой же хрен задувать домны в этом самом Запорожье?

— То есть? — Симоненко с недоумением воззрился на Кулагина.

— Их надо восстанавливать, а не задувать!

Симоненко раскрыл рот, но его опередил обычно не очень расторопный Филипп Головастиков:

— Тю на тебя, Толька! Деревня! Задули домну — значит пустили ее. Восстановили!

Симоненко подтвердил, что Головастиков прав, и первым бурно захохотал. И вся рота грянула. Кулагин несколько смутился: серый глаз смотрел нагло, но карий — виновато. Порывался что-то сказать, однако хохот глушил его. Когда чуток стихло, он произнес вроде бы застенчиво:

— Это я пошутковал. Что я, не понимаю: задуть — это не то, что потушить...

Результат был обратный тому, которого ожидал Кулагин: захохотали пуще прежнего, потому было очевидно — врет. Кулагин больше не стал объясняться с обществом, но оба глаза у него сделались нахальными. Я посмеялся вместе с солдатами, хотя было, в общем-то, не до смеха. Чем ближе надвигалось неотвратимое, грозное, тем тяжелее становилось на сердце. Я понимаю: мне это не положено — переживать. В этаком-то духе. Тяжело? На душе? Я же солдат, я же командир, я обязан знать одно: вперед — за Родину! Без раздумий и тем более переживаний. Нет, правда: они здорово осложняют жизнь и мешают воевать. Но, черт возьми, живой и есть живой! Без раздумий и переживаний живому человеку нельзя, пусть он солдат, пусть он накануне войны.

Солдаты отхохотались не сразу. Еще вспыхивали, будто цигарки в темноте, смешки, потому что реплики были веселые, с перчинкой. В трепе на вольные темы принял участие и неунывающий Толя Кулагин. Правда, сказал он не столько смешное, сколько бесшабашное и чуточку горчащее:

— Кончится война — буду куролесить! Год, два, три буду гулять, наверстывать упущенную молодость, робя! Опосля остепенюсь — и под венец!

Я для себя комментирую тезис: куролесить после войны. Стану ли я куролесить, хотя и у меня четыре года молодости отняты войной? Вероятно, нет. Вероятно, стану жить нормально, памятуя, что у миллионов отнята не молодость — сама жизнь.

Седьмого августа проводили полковой митинг: нашему однополчанину командиру орудия Геннадию Базыкову присвоено звание Героя Советского Союза. Здорово! Еще утром нам привезли дивизионку — вся первая полоса была посвящена этому событию: напечатаны Указ Президиума Верховного Совета СССР, передовая статья, разные заметки о его подвигах, фотография, и я сразу узнал старшего сержанта! Шелестя газетой, припомнил: после форсирования Шешупе (мы реку называли «Шешупа», на русский лад), на восточно-прусской уже земле, орудие Базыкова сопровождало наш наступающий батальон. Артиллеристы были, как говорится, на должной высоте: неотступно следовали за стрелками, расчищая нам путь. Если не ошибаюсь, расчет Базыкова подавил одну за другой пять огневых точек. А потом из лесу на полной скорости выскочили девять немецких танков! Сколько б ты ни натерпелся на войне всякого, как бы она тебя ни закаляла, при виде мчащихся на батальон бронированных махин мурашки ползут по спине. Пехота залегла, приготовила противотанковые гранаты, противотанковые ружья. Но артиллеристы, черти, молодцы, герои, опередили нас. Они подожгли головной танк, остальные струсили, повернули назад.

В Восточной же Пруссии, поближе к Кенигсбергу, расчет Базыкова сопровождал другой стрелковый батальон. И опять — танковая контратака немцев. Базыковцы выкатили орудие на прямую наводку, заварилась дуэль: танки с ходу били по орудию, орудие било по танкам. Итог: все три танка были подбиты и подожжены, орудие уцелело, в расчете — двое раненых и те не покинули поле боя, а батальон пошел вперед. Сам все это видел. Из газетки вычитал и кое-что другое... Вместе с Базыковым у нас теперь в дивизии двенадцать Героев, есть и посмертно. Геннадий Базыков, к счастью, живой...

На митинге выступил и я, хотя публичные выступления даются мне не легче, чем старшине Колбаковскому: краснею и бледнею, разве что не заикаюсь.

— Сегодня мы приветствуем старшего сержанта Базыкова, вступившего в семью Героев Советского Союза. Базыков свою звездочку заработал честно, в самом пекле. Порадуемся за него и пожелаем: будь, Гена, здоров и счастлив, а главное — будь жив!

Митинг закруглился, и я подошел к Базыкову, стоявшему тут же,— крепыш, голубоглаз, русоволос,— пожал руку, сказал без особой веселости:

— Геннадий, поздравляю еще раз! Обмыть надо!

— Непьющий я,— грустно ответил Базыков.

— Да ты и впрямь герой,— сказал и повторил свое: — Будь жив!

Та, западная, война продолжала догонять нас и здесь, на Востоке, накануне новой войны. По-разному догоняла. Геннадия Базыкова настиг Указ о присвоении звания Героя. Геворка Погосяна настигло сообщение: в ташкентском госпитале от фронтовых ранений скончался старший брат Арташес. Молчаливый, сдержанный Геворк ушел в степь и плакал там. Воротился с покрасневшими глазами, пряча взгляд. Я ничего не сказал ему, легонько обнял за плечи и тут же отпустил. И та война, и эта, восточная, навечно засядут в нас так или иначе — чаще горем, чем радостью. И та война, и эта война сплавятся в одну Войну. Мы — клейменные Войной. Навсегда клейменные.

Отдав дивизионку ординарцу Драчеву — на раскур,— я надумал разуваться. Не стянул сапога, как услыхал из угла, где Драчев передвигал котелки (обожает погреметь своим хозяйством):

— Оно, конечно, звездочка Базыкову потребственна не так сейчас, как опосля, когда мирная житуха затвердится прочно, без заднего хода. Почет будет и продвижение по работе, по службе, кем он там будет...

Я бы мог сказать ординарцу что-нибудь резкое. Но говорю спокойно:

— При чем здесь поблажки и выгоды? Награды свои мы зарабатывали не ради выгод...

— Э, товарищ лейтенант, красивые слова! В гражданке надоть пробиваться. А у кого на грудях звезды-ордена, тем, понятно, будет ловчей...

И опять я сдерживаюсь, говорю мягко, убеждающе:

— Ты не прав, Миша! Никому не надо будет пробиваться. Фронтовиков и так не оставят без внимания.

Драчев не поддерживает дискуссии, но котелками гремит. Я тоже умолкаю, кряхтя стаскиваю второй сапог. В то, что я сказал, верю. Нас не оставят без ласки. Не оставят...

В дискуссию о значении в послевоенной, «без заднего хода», жизни фронтовых наград ни Петров, ни Иванов, ни Колбаковский не встряли. Возможно оттого, что у лейтенантов никаких правительственных наград нет, а у старшины — единственная медаль «За отвагу». Нет, все-таки Драчев вдвойне не прав: о фронтовиках позаботятся — это так, а во-вторых, у нас не принято жить лишь прошлыми заслугами, эти свои награды мы можем и обязаны будем подтвердить на мирном поприще! Мысль представляется мне убедительной, и я засыпаю в хорошем настроении. Уже сквозь дрему слышу, как Иванов говорит:

— Отсидели четыре года в дзотах и траншеях, поползали на пузе по даурским степям... Забайкальская военная академия!

— Закончим ее, сдавши экзамены. А экзамены те — война с Японией,— отвечает Петров.

А сутки спустя, вечером восьмого августа, снова был митинг. Множество собраний, совещаний, заседаний, бесед и митингов изведал я за свой недолгий век, но такого митинга не было и не будет! Митинг, на котором нам объявили о начале войны с Японией... Я смотрел на тех, кто выходил на середину полкового построения, слушал выступавших с речами и почти пугался обыденности происходящего и своей о б ы к н о в е н н о с т и, то есть того, как ординарны мои мысли и чувства, как привычно, по-земному воспринимаю я события. Будто ничего из ряда вон выходящего! А должны были заблистать молнии, ударить гром, разверзнуться хляби небесные... не знаю, что еще должно было б быть. Но наплыла уверенность: все как надо, ты будь собой.

Командир полка произнес речь: пробил долгожданный час, Советское правительство заявило о состоянии войны с Японией с девятого августа, командование отдало приказ о переходе границы, мы с честью и достоинством выполним этот приказ, разгромим ненавистного врага, да здравствует Родина, вперед орлы-оршанцы! Потом выступали разные люди, от нашего батальона аж двое — замполит Федя Трушин и, гляди-ка, мой взводный Петров Сева; оба держались уверенно, бдуто только тем и занимались всю жизнь, что толкали речи на широкой публике. Ну, с Трушиным ясно: политработник, речи ему не в диковинку. Но Сева Петров, еще вчера сидевший на тыловой норме в «забайкальской академии», так смущенный моим фронтовым и франтоватым видом?

Федя Трушин нажимал на политику: мы верны интернациональному долгу, освобождая Китай, способствуем освобождению всей Азии от японского империализма, к тому же содействуем и союзникам в боевых действиях на Тихом океане, иначе они еще пропурхаются. Сева Петров, не мудрствуя лукаво, повторил то, о чем говорилось вчера в палатке: воины, прошедшие «забайкальскую военную академию», выдержат боевой экзамен, не отстанут от славных фронтовиков, покажут, на что способны забайкальцы, будут сражаться, не щадя живота своего. И все выступавшие, конечно, изъявляли радость, что настал наконец срок рассчитаться с подлыми агрессорами, разгромить кровожадных и коварных самураев, погасить очаг войны на Востоке и обеспечить всеобщий мир на земле. После каждого выступления над строем перекатывалось «ура», столь громоподобное, что казалось, его услышат и по ту сторону границы.

Расходились с митинга взволнованные, взбудораженные. Но возбужденнее всех был, однако, я. По крайней мере, так мне казалось. Думал: не зря меня корили за излишнюю впечатлительность, точно, точно — при такой эмоциональности толковый командир-вояка из лейтенанта Глушкова не вылепится, в комбаты, например, не пробиться.

Только-только воротились к своим землянкам и палаткам, как за мной явился посыльный: срочно к комбату, собираются командиры рот. По привычке поворчав: «Что ж сразу не собрали, все же были на

месте»,— шагнул за посыльным. И на ходу отметил: ворчу, следовательно, вхожу в норму. Да, действительно, с чего психовать-то? Живи нормально, лейтенант Глушков! Слушаюсь!

У комбата мы получили последние ЦУ — ценные указания: порядок следования, маршрут, меры безопасности. Офицеры батальона были взбудоражены и в то же время деловиты, молчаливы. Ни комбат, ни его замы, ни адъютант-старший, ни ротные не скажут лишнего словечка. Почудилось: Трушин хочет что-то сказать мне, но и он ничего никому не сказал. Я и сам молчаливым сделался. И когда возвратился в роту, там тоже не было лишних разговоров — только о том, что связано с выступлением, с походом; слово, два — и молчок. Солдаты убирали палатки, выдергивали колышки, скатывали шинели, переобувались, проверяли подгонку снаряжения, утрамбовывали вещмешки, куда добавился сухой паек. Ни шуток, ни смеха. Как перед наступлением. Но перед наступлением не бывало такой молчаливости, даже замкнутости, и помнится — тогда письма писали домой. Нынче писем никто не писал. И это подчеркивало: не наступление, пусть и большое,— целая война.

Умолкли. Покашливание. Кое-где цигарки — как светляки. Ухожу и возвращаюсь, запыхавшись: получил приказание поднимать роту. Свершается! В темноте возникают фигуры, растворяются, вновь возникают. Ночь на редкость непроглядная. Где земля, где небо — не разберешь, они сливаются, свариваются без шва. Но наши глаза натренированы, и в степи кое-что мы, конечно, различаем: контуры людей, повозок, пушек, автомашин, танков, и человеческие силуэты и распахнутые настежь двери покинутых землянок. Раздаются негромкие и отчего-то сплошь хриплые команды взводных и отделенных. Рота выстраивается; в темноте, наверное, своё место в строю ребята как бы нащупывают плечами: плечо ищет привычное плечо соседа. Вывожу роту на проселок. Комбат нас останавливает. Поджидаем, когда подойдут остальные подразделения. Подошли. Батальонная колонна двинулась за капитаном.

Нужна осторожность, чтобы не наступить на ноги впереди идущего, не споткнуться, не упасть. Упадешь, задние поднапрут, беда будет — ни черта же не видно. За фронтовиков, за ветеранов-забайкальцев я спокоен, народец опытный, ночных маршей посовершали — будь здоров! Тревожусь о юнцах, о зеленых. Если б мог, с каждым рядышком пошел бы!

А пехоты — прóпасть: топот по всей степи. Изредка команды, изредка увесистый матюк. Скрипят колеса подвод, ржут лошади. Где-то недалеко заводят моторы, где-то подальше моторы уже гудят — и танковые, и автомобильные. Воняет соляркой. В разных концах степи взлетают сигнальные ракеты, зеленые и красные. И гаснут. Становится еще темнее. А мы шагаем, шагаем, и что удивительно — в этакой-то темени шагаем в добром темпе. Как будто застоялись и теперь наверстываем упущенное. Почему торопимся, не совсем понятно. Но темп даже возрастает, испарина мигом облепила. Невидимая в темноте пыль похрустывает на зубах, кажется, она черная, как ночь. Граница все ближе и ближе. Вон там, впереди, средь ковыля, полыни, солончаков, каменных россыпей,— там! Как-то она встретит нас? В глубоком японском тылу, за грядой сопок,— зарницы взрывов, смягченный расстоянием и будто присыпанный каменной осыпью и песком грохот — видимо, наши обстреливают дальнобойными укрепрайон. У нас в тылу, на огневых позициях тяжелой артиллерии,— вспышки орудийных залпов, дальних-дальних, и звука не слыхать. А вообще, как нам объяснили, наступать будем без артиллерийской и авиационной подготовки, чтоб достигнуть внезапности при переходе границы.

Пошаркав ногами, подошел Федя Трушин:

— Лейтенант, принимаешь к себе?

— Товарищ гвардии старший лейтенант, мы батальонное начальство уважаем!

— Политсостав распределили по ротам: парторг и комсорг — во вторую и третью, ну а я к тебе,— словно оправдываясь, сказал Трушин.

— Федор, ты же знаешь: я и впрямь тебе всегда рад.

— Знаю, Петро. Буду с тобой при переходе границы. И в дальнейшем... Теперь тебе не страшно?

— С тобой-то? Да хоть на Токио пойду!

Этот неожиданно шутливый разговор немножко встряхнул меня. И если без шуток: с Трушиным я спокойней, уверенней, даже если и зубатимся, то есть грыземся, то есть ругаемся. Но не из одной же ругани состоит наше общение! Федя — мужик головастый, вояка смелый и стреляный-обстрелянный, в случае чего и подскажет дельное. А в иночасье и для души с ним можно покалякать.

Команда: «Стой!» Останавливаемся. Слышу два звука — стук сердца и зудение комаров, облепляющих похлестче испарины. Затем слышу звуки моторов — один приближается, угрожающе рыча, и мимо с включенными фарами — чтоб не раздавить кого — пролязгала тридцатьчетверка. У сопки — за ней Маньчжурия, за ней японцы — затормозила и выстрелила из пушки. Один танковый выстрел, послуживший сигналом. Степь взревела сотнями моторов, озарилась сотнями фар. Ослепительный огонь волнами заколыхался над степью. Я взглянул на часы, французские, знаменитые, коварные нравом: ровно час. Спросил у Трушина:

— На твоих сколь?

— Час.

Значит, не врут, головастиковские, французские, обманные!

Трушин сказал:

— Запомни это число, Петро: девятое августа.

— Запомню! Сегодня начали закапывать вторую мировую в землю. Чтоб не встала больше!

За сопками — взрывы. Похоже, разведгруппы и передовые отряды ударили по японским кордонам. Пора бы и нам! Гром и скрежет танков, гудение ав-

томашин, стук конских копыт. Колонна за колонной проходят к границе. В лучах фар — поднятая колесами и гусеницами песчаная пыль. Окрест — словно в тумане. Настает и черед пехоты:

— Шагом — арш!

Озноб охватывает меня — волнуюсь, да и в степи свежо,— и, будто бы для того, чтобы согреться, кричу во всю мочь:

— Рота, за мной, шагом марш!

Орать, точно, надо в полные легкие: рев моторов слева и справа. Команду мою слышат лишь в первых рядах, но они трогаются, а за ними и остальные: тут не зевай, следи за передними, иначе оторвешься, отстанешь. Держа автоматы на изготовку, идем широким шагом. Словно не желаем отстать от танков. Куда там! Они прорычали, пролязгали, навоняли выхлопными газами и растворились в мóроке, за сопками. И нам туда. В темени, на обратном скате сопки и в распадке, трещат пулеметные и автоматные очереди и тут же смолкают. Что там произошло? Нам ничего не командуют.

Вперед! Вперед! Быстрей, быстрей! Танков уже не слыхать. Нельзя отрываться от передовых отрядов. По бокам от моей роты идет вторая рота нашего батальона и рота другого полка, вклинивается и минометная рота. Так и перемешаться недолго. Вот эти сопки, где граница? Или это другие? Они здесь как близнецы, не отличишь.

13

Солдат границы

Алексей и Костя снаряжали диски к автоматам, и Алексей чувствовал, как у него подрагивают пальцы. Взглянул на Костю — и у того руки дрожали. Да и как же не волноваться, когда только что, на боевом расчете, им объявили: они входят в состав штурмовой группы! На боевом расчете не дашь воли чувствам, хотя все написано на лицах, зато после команды начальника заставы: «Разойдись!» — шумок поднялся немалый. А как тут промолчать, если одним посчастливилось, другие же баранку получили! Баранку, ноль, заработали те, кто останется на заставе, ребят можно пожалеть: не пофартило. Счастливчики будут штурмовать японский кордон, среди них он, Алексей Маслов, и его дружок Костя Рощупкин, ура! Расходясь с боевого расчета, счастливчики «ура», конечно, не кричали, но хлопали друг друга по плечу, поддавали кулаком в бок: «Повоюем!» А получившие баранку чертыхались или пасмурно роняли: «Чем мы хуже?» — но расчет произведен, кто куда обозначено. Все понимают это, однако шумок утих не сразу, хотя начальник заставы быстренько ушел в канцелярию.

Да, пограничник — что-нибудь значит! Чтоб потом можно было сказать: «Я тоже повоевал в Великую Отечественную». А то что же выходило? Иные отбухали на фронте четыре годочка, а пограничники Забайкалья и Дальнего Востока? Немногие из них уехали на Запад, когда в сорок втором формировались дивизии из пограничников. Понятно, на японской границе нас держали не зря, и все-таки точило: на фронт не пускают, так хоть когда-нибудь тут отыграться. Дождались...

— Костик, послушай! Сколько охраняли границу, а нынче сами перейдем ее,— сказал Алексей. — Надо за все рассчитаться с самураями...

— Будь спокоен, рассчитаемся,— отозвался Костя. — Ведь они у меня брата убили на Халхин-Голе. Как вспомню, сколько они зла причинили нам, аж сердце закипает... Да и не только нам. А китайцам? А другим народам, которых поработили?

— Скорей бы уж начиналось!

— Теперь скоро...

— Письмо бы успеть написать матери...

— После напишешь, Алеша. Когда на той стороне побываем. Интересней письмо будет!

— Это верно!

Но все же он начал писать письмо в ленинской комнате. На листке из ученической тетради вывел бледно-лиловыми, будто выцветшими, едва просохли, чернилами: «Дорогая мама!» — и задумался. Окна в ленинской комнате были приотворены: в одно наносило речную свежесть, в другое — теплый смолистый дух леса; смешиваясь, они рождали тепло-холодные сквознячки.

Доносило и голоса: дежурного, повара, связиста, остающихся на заставе, и тех, кто пойдет ночью на маньчжурский берег,— они дымили в курилке, возле конюшни, там и милый друг Костя Рощупкин. А некурящий Алеша Маслов снова склонился над письмом: «Дорогая мама...» Ну о чем написать? О своих мыслях и чувствах перед, вероятно, решающим событием в его жизни? Не напишешь, военная цензура не пропустит.

Голоса остающихся на заставе и уходящих на операцию, точнее сказать, в бой, смешивались, как прохладно-теплые сквознячки, и Алексею стало как-то тревожно. Именно эта тревожность и заставила его написать еще две фразы: «Прежде всего сообщаю тебе, что у меня все по-прежнему. То есть все в порядке».

Маслов вздохнул и еще дописал: «Жизнь моя идет нормально. Надеюсь, что и у тебя все хорошо и благополучно...» Волосок попал в перо, последнее слово смазалось. Алексей вытащил волосинку и положил ручку рядом с письмом. Он сидел, втянув голову в худые плечи — левое было выше,— вскинув брови, словно удивившись,— и левая была выше,— взъерошивал вьющиеся волосы, коротко подстриженные, поглаживал мягкий раздвоенный подбородок. Может, и действительно удивлялся: сколько ждали этого срока, и вот он наступил. Сейчас пока еще мирные, предвоенные часы. А потом штурм, потом бой, потом война. Как только пограничники снимут погранполицейские посты и расчистят путь, на тот берег начнут переправляться полевые войска. Силища, скопившаяся в окрестных лесах и перелесках. Тайги тут

нет, она севернее, а здесь, на участке Даурского отряда, леса скудны, к югу же вообще — голые ковыльные сопки, знаменитые даурские степи. Как поется: «По диким степям Забайкалья...» Людей и технику кое-как замаскировали в перелесках, распадках, на скатах сопок.

Смеркалось, но еще было видно. И Алексей добавил в письме: «Служба идет как положено, жаловаться не на что. После разгрома Гитлера дышится вольготней. Скоро заживем на славу. Отслужу на границе и приеду к тебе, дорогая моя мама...» Он опять отложил ручку, посидел-посидел и встал, спрятав письмо в нагрудный карман. Точно, после допишет. Пойду-ка к ребятам, подумал он, как там они, да и веселей вместе. Вместе и тревога погаснет. В чем же штука? Он не боится риска и опасности — попривык к ним на границе,— так почему сердце сжимается? А потому, наверно, что выпадает нарушить государственную границу. Столько лет берегли ее нерушимость, отбивали японцев и их агентуру и сами ни на метр не переступали заветной черты. И вот теперь...

В курилке — железная бочка, врытая в землю, лавочки вокруг — было оживленно, шумно, вспыхивал и затухал и вновь вспыхивал смешок. Подойдя ближе, Алексей определил: смеются анекдотам Тихона Плавильщикова, разудалый Тиша помнит их бессчетное количество. Ну, конечно: муж в командировке, а жена... тыща первый вариант этого анекдота.

Не курильщик и не любитель скоромного, Алексей тем не менее затоптался в курилке, прикидывая, где бы примоститься. Костя Рощупкин сдвинул соседа, сам подвинулся:

— Приземляйся, Алеша.

Маслов приземлился, и его сдавили плечи Рощупкина и Плавильщикова. Не вырвешься, только сами могут тебя вытолкнуть, как пробку. Обкуривают здорово. В горле першит от махорочного дыма. В мутной воде плавают размокшие, до ногтя сожженные самокрутки, окурки прилипают к стенкам бочки. И он, Алексей Маслов, как бы прилип к лавочке.

— Об чем мыслишь, Леша?

Спрашивает Плавильщиков. Что, он уже перестал травить анекдоты?

— Понимаешь, Тихон... О разном думается. Как границу перейдем, например...

— Точно, хлопцы,— сказал Рощупкин строго.— Нам доверили задание — аж дух захватывает! Не осрамимся! Точно, хлопцы?

Кто сказал: «Точно!», кто кивнул, а потом все умолкли.

И долгое это молчание о многом сказало Алексею. И о том, между прочим, что ребята, как и он, переживают предстоящее. Анекдотики и смех — скорей для облегчения души, на которой неспокойно.

Спать уже не ложились — и те, кто уходил за границу, и те, кто уходил на границу. Шуток и смеха больше не было, короткие, отрывистые разговоры по делу, молчаливое потрескивание цигарок, их огоньки будто протыкали темноту. За старицей, за рукавом пошумливала на перекатах Аргунь, придавленная беззвездным небом. Терлись будыльями, шелестели травы. Отчего-то развылись овчарки в питомнике. Чуяли что-нибудь, чуяли, что кто-то сегодня будет на сопредельном берегу? Да, уже сегодня: перевалило за полночь. А сопредельный берег скрыт мраком, ни огонька. Но где-то за Аргунью тоже выли собаки — сельские, домашние. Эти-то с чего развылись?

Временами Алексей поглядывал в сторону Аргуни, как и остальные из штурмовой группы; впрочем, поглядывали и остающиеся. Китайский берег ничем не отличался от нашего: покатый спуск, отмели, у кромки тальник, подальше, на сопках, пни, мшистые валуны, редколесье. От речки полз клочковатый туман, уплотняясь и поднимаясь — по щиколотку, по колено, по грудь. Так, омываемая седоватым туманом, штурмовая группа и попрощалась с остающимися — обнимаясь, тиская друг друга. Так, в тумане, и спускались с заставы цепочкой вслед за капитаном к речному урезу. Как и все в штурмовой группе, Алексей Маслов пригибался, ступал осторожно, стараясь не звякнуть оружием и снаряжением, не потревожить подошвами сучка и гальки; впереди шел Костя Рощупкин, позади — Тиша Плавильщиков, и это соседство придавало уверенность. Минутами казалось: спустятся к урезу и залягут втроем — усиленный наряд — в кусточках, за валуном, но разумел: лежать в секрете не придется — и старался не отставать от Кости. Пограничная тропа, по которой хожено-перехожено, вывела их распадком к Аргуни, в темноте поблескивающей, будто дышащей,— текучая эта темнота и притягивала, и отпугивала.

В прибрежных тальниках и камышах — надувные лодки на плаву. Без всяких команд ребята расселись, как было оговорено заранее, расселись с удивительной деловитостью, с рабочим спокойствием, поставив между колен автоматы. Кто-то шепотом сказал: «Пошел!», лодка качнулась, поплыла, сносимая течением. Всплескивали весла, журчала вода у борта. Слева, метрах в десяти, плыла такая же лодка, но левое плечо Маслова холодила пустота, правое упиралось в плечо Кости Рощупкина, Плавильщиков дышал в затылок — словно вдыхал в тебя уверенность. Эх, побольше бы этой уверенности!

Август, девятое число, а звезд почему-то нет. Рано, что ль? Попозже будут, в середине месяца? Ведь в августе звездопады. Знобко! От воды потягивало сыростью, вообще воздух над рекой холодноватый. Алексей всматривался в маньчжурский берег: он приближался, покуда еще плохо различимый, но за службу изученный до мелочи; там ни огонька, ни звука, дворняги и те перестали выть. Наверное, лодка была на середине реки, пересекала границу, потому что Алексей обернулся и будто сквозь Плавильщикова, сквозь сидевших сзади пограничников увидел свой, советский берег, тоже знакомый до мелочей. И родимый до боли сердечной. Забайкальская казачья сторонка!

Чужой берег возник как-то внезапно, выступом, словно пропоров туман,— лодка ткнулась в валуны;

течение разворачивало ее, шлепало о каменные бока. Пограничники выпрыгивали на валуны, на гальку и в своих широких плащ-накидках растворялись во мраке. «Вот и все,— подумал Алексей.— Возврата нет». Не отставая, он побежал по распадку. Шагах в сорока от реки капитан остановился, оглядел штурмовую группу и взмахнул рукой: вперед! Сперва они двигались по одному распадку, затем свернули в другой, который и вывел на ровную сравнительно, в чахлых кустиках местность. Капитан опять махнул рукой, и все легли. Снизу, с земли, на фоне неба слева виднелись сельские домики и фанзы, справа — здания погранполицейского поста. Капитан прошептал-прохрипел:

— К кордону по-пластунски — за мной!

Они проделывали то, что в последние дни много крат отрабатывали на занятиях, так и называвшихся — «снятие кордона». Извиваясь, обдирая локти, подползли к проволочному заграждению, саперными ножницами выстригли проход, не звякнув, развели концы; поползли дальше, за колючку, окружая пост: казарму, доты, наблюдательные пункты. Их долго не замечал часовой, мурлыкавший песенку о веселых гейшах,— эту песенку иногда доносило из-за Аргуни с попутным ветром, когда японцы перебирали сакэ — рисовой водки, становясь необузданно-дикими. Знакомый мотивчик, и каково было слышать его так вот — вблизи...

Часовой не успел или не смог крикнуть — спазмы сдавили горло,— когда около него выросли тени. Он дернулся всем телом и, падая с ножом в спине, нажал на спусковой крючок карабина. «Выстрелил-таки»,— подумал Маслов.

Выстрел часового поднял на кордоне суматоху. Японцы — кто одетый, кто в одних трусах — выскакивали из казармы и блиндажа и бежали к траншеям. Трещали автоматные и пулеметные очереди, рвались ручные гранаты. Покрывая все, ахнули противотанковые гранаты: пограничники подорвали дот. Алексей, державшийся Кости Рощупкина, делал, что и остальные пограничники: стрелял из автомата, швырял гранаты, и почему-то не оставляла мысль: «Как ладно, что с поста эвакуировались семьи офицеров! Каково было бы женщинам и детям? Ладно, что неделю назад уехали...»

Японцы, хоть и застигнутые врасплох, сопротивлялись жестоко. Если бы не выстрел часового, их можно было б сломить быстрей. У блиндажа, у окопов, за казармой, за дзотом вспыхивала перестрелка, гремел гранатный бой, кое-где доходило и до рукопашной. Пограничники действуют молча, японцы что-то кричат: то ли командуют, то ли подбадривают друг друга. Да чего ж там подбадривать: минут через сорок или, может, через час кордон был снят. Он пылал, пособляя близкому рассвету доконать ночную темь. При свете пожаров было видно: часть гарнизона перебита — трупы валяются, часть взята в плен — стоят с поднятыми руками, оружие брошено под ноги; нескольким японцам вроде бы удалось удрать, уйти в тыл, по косогору. Но при свете пожаров Алексей увидел также в траве у наблюдательного пункта — Тихон Плавильщиков, навзничь, неподвижный, в окровавленной, излохмаченной плащ-накидке; над ним склонился капитан. Алексей подошел поближе и отшатнулся от мертвого, пустого взгляда Плавильщикова. Убит. Прощай, Тиша...

Над кордоном взлетела серия ракет — сигнал, что путь расчищен. И на рассвете через Аргунь стали переправляться стрелковые батальоны 36-й армии. Навстречу им, к нашему берегу, поплыли понтоны с пленными японцами и убитым Плавильщиковым — Тихон опять пересечет государственную границу, вернется на заставу. Мертвым. Ну а штурмовая группа пойдет дальше, преследуя отходящих с границы японцев.

Солнце вставало над маньчжурскими сопками и падями, над равниной; где-то значительно правее кордона город Маньчжурия, сильно укрепленный японцами, против него — наш поселок Отпор, тоже укрепленный нехудо, но здесь, где двигалась эта штурмовая группа, были только китайские деревни и казачьи, белоэмигрантские станицы. Капитан посмотрел по карте: к одной такой станице, Рождественской, и отступали японцы. Пока снаряжали магазины, получали у старшины гранаты, перевязывали раненых — их было трое, Костя Рощупкин средь них, и никто не покинул строя,— капитан выслал разведку во главе с сержантом. Разведчики доложили: остатки разгромленных погранполицейских постов стягиваются в Рождественскую, по всем проселкам бегут-топают, на подступах к станице спешно роют окопы.

— Та-ак,— сказал капитан.— К тому же в Рождественке дислоцируется японская рота. Надо атаковать с ходу, покамест не очухались...

Подоспела штурмовая группа с соседней заставы, снявшая свой кордон, и ее командир, румяный, пухлогубый лейтенант с перебинтованной кистью, сказал, улыбаясь, капитану:

— Вливаюсь в вашу группу.

— Заметано.

Солнце било в глаза, они слезились от дыма пожаров, от взбитой желтой пыли. И конечно недосып — сегодня глаз не сомкнули. Было душно, жарко, пот стекал со лба по щекам и за ушами: шли ускоренным маршем. По чужой порабощенной земле. Чтоб освободить ее. Потому и торопились. Шире шаг, Алексей Маслов! Ты идешь не дозорной тропой, а заграничной дорогой! Ну и ну! Рождественская угадывалась по купам деревьев, по златоглавой церкви. Станица на косогоре, перед ней равнина: просовое, кое-где изрезанное балками поле. Далеко за Рождественской ухали тяжкие взрывы, может быть, бомбежка.

Атака с ходу не удалась. Боевое охранение было обстреляно еще на подходе к Рождественской. Капитан приказал залечь, рассредоточиться. Алексей по-пластунски отполз в сторону; видел: пограничники ползут по просовому полю, разворачиваются в цепь. А над головой жалят воздух одиночные пули из карабинов и очереди из «гочкисов»: два пулемета, дер-

гаясь стволами взад-вперед, бьют с обоих флангов. Алексей начал шуровать саперной лопаткой, набрасывая перед собой бруствер. Но окопчика хотя бы «лежа» отрыть не поспел, потому что старшина и Костя Рощупкин — раненый же, чертяка,— умолотили пулеметы гранатами. А заставский «максим» славно чесал по японским окопам, да и автоматы наши не молчали. Стрелял из ППШ, переведя на одиночные выстрелы, и Маслов: до японцев метров сто, не больше.

«Надо на что-то решаться»,—подумал он о капитане. И капитан решился:

— Приготовиться к атаке! Вперед по-пластунски! По моему свистку подымаемся!

Поползли. По просу, по вытоптанным уже до них пятачкам, по незасеянным прогалинам. Не было времени вытереть заливавший глаза пот, Алексей лишь отплевывался, отфыркивался, дышал запаленно. Японские карабины почти умолкли. Ну и не стреляйте: меньше пуль — меньше шансов быть убитым. Как Тиша Плавильщиков. Наверное, его уж перевезли на заставу, роют могилу. Похоронят без них, воюющих на чужом берегу? И когда они отвоюются? Ведь потом решающее слово за полевыми войсками...

Околица Рождественской совсем близко: видать снующих по окопам японцев, слыхать их гортанные выкрики. Заверещал капитанов свисток. Маслов вскочил, побежал к окопам, опоясывавшим станицу. Он бежал в цепи, крича «ура», и стрелял из ППШ короткими, захлебывающимися очередями. Когда до японской обороны оставалось метров тридцать, из засады ударил «гочкис» — третий, стало быть. Огонь был кинжальный, кто из пограничников упал, срезанный очередью, кто залег в просе. А Маслов в горячке, в азарте не смог остановиться, пробежал еще с десяток шагов, исступленно вопя «ура» и подхлестывая себя этой исступленностью. Оглянувшись, увидел: остался один. И, не успев ни о чем подумать, рухнул в просо: очередь из «гочкиса» ударила ниже колен.

Очнулся Алексей от прикосновения чего-то холодного ко лбу: кто-то прикладывал мокрое полотенце. Он приподнял опухшие веки, но перед глазами зарябили круги. Рядом заговорили не по-русски, но на каком языке, не понимал: сознание меркло. Ему открыли рот, влили что-то обжигающее, сознание прояснилось. Подумал: «Спирт влили. Или сакэ». А говорят по-японски. Он окончательно открыл глаза. Лежит на траве, в тени, под навесом сарая, без оружия. Как попал сюда? Он приподнялся на локтях и заметил неподалеку трех японских офицеров. Тщедушные, в очках, с черными усиками. А рядом с ним солдат, улыбается. Или скалится?

От ужаса Алексею захотелось зажмуриться. Но он не зажмурился, только сполз с локтей на спину. И это отдалось ноющей болью в перебитых ногах. Что с ним сейчас? Что с ним будет? Ужаснее смерти — японцы уволокли его к себе. Плен. Он в плену. Офицеры подошли поближе, майор, видимо старший, сказал:

— Нам приятно, цто вы оцнурись...

Двое других кивнули. Алексей застонал. Не от боли стонал — от своего бессилия, от ужаса перед случившимся. Хотя и ноги мозжат, горят огнем. Беспомощен, как младенец. Даже приподняться не может. Майор нагнулся:

— Вы быри без сознания, мы позаботирись и о васей ране. Перевязари... За это вы сказете коецто.

Алексей молчал, прерывисто дыша. Майор присел на корточки:

— Сказете — поручите зизнь, свободу, много рубрей... Отвецяйте: кто вы, какая цасть, кто командир? Цисленность цасти? Ее задаци? Ну, ну, быстрей... Нам некогда... Да не бойтесь, о васих показаниях никто не узнает: зитери спрятарись, сидят в подварах, а мы... мы сейцас уйдем...

Алексей не отвечал, глядя мимо японца. Тот начал терять терпение, уже не был учтив:

— Сообразайте зивей... Ну, я срусаю... — Он встал, присмотрелся к пограничнику. — Не хоцесь отвецять? Тогда будет прохо... Ну!

Майор что-то резко крикнул по-японски. Два других офицера и солдат подскочили к Маслову, связали ему за спиной руки и стали избивать. Били палками, прикладами, сапогами. Били по лицу, по голове, по животу. Сам майор несколько раз ударил носком по раненым ногам. Алексей потерял сознание. Ему плеснули в лицо водой. Майор сказал:

— Как дера? Ты мне хоцесь цто-то сказать? Скази! Не хоцесь? Тогда будет прохо...

Он снова скомандовал по-японски. Офицеры и солдат подхватили Алексея, поволокли в глубь двора к сухому кедру. Поставили спиной к дереву и привязали крест-накрест веревками. Голова Алексея падала на грудь, он старался приподнять ее. Майор закурил сигарету, выпустил из носа дымок:

— Посредний раз предрагаю: ири зизнь, ири... Прохо будет...

Били палками, резали тесаками, жгли горящими сигаретами, сорвали бинты, помочились на раны. Пахло кровью, подпаленными волосами, мочой. Алексей, бледный, в ледяном поту, в изодранной, окровавленной одежде, обессилев, висел на веревках, голова безжизненно поникла. Когда он был в сознании — только мычал. А когда терял сознание — стонал, плакал, выкрикивал в бреду бессвязные фразы. Японцы, вытянув шеи, вслушивались: «Мама, родная...» Майор давал знак, пограничника приводили в чувство, и пытки продолжались. Наконец майор вытащил носовой платок, вытер лоб и шею, вместе с офицерами ушел в дом. Возле Алексея остался часовой. Забросив на плечо винтовку с широким ножевым штыком, он ходил лениво, вперевалку. Солнце припекало, горячий воздух был недвижим. Жужжали золотистые жирные мухи. Часовой тупо наблюдал за их роем.

Неподалеку, на просовом поле, послышались стрельба, гранатные взрывы. Часовой замер. Алексей приподнял голову, открыл глаза. И сквозь мутную

пленку словно увидел Костю Рощупкина, капитана, Тишу Плавильщикова, старшину и других пограничников, и словно все они, живые-невредимые, спешат ему на выручку. Поспешайте, милые, я покуда жив, хотя изранен, изувечен. Я не хочу умирать, я еще поживу! Сквозь пленку, застилавшую глаза, он разглядел невидимую, скрытую отрогом Хингана Аргунь, заставу, ленинскую комнату, свое фото на стене: отличник службы и учебы ефрейтор Алексей Маслов.

В небе зарокотали моторы. Маслов по звуку узнал свои, советские самолеты. А есть и наши танки, наши орудия, наша пехота! Кровоточащие, бесформенные губы раздвинулись — это была улыбка.

Шестерка штурмовиков, развернувшись, принялась бомбить и обстреливать станицу. Стрельба на просовом поле усилилась, там кричали «ура». Бомба разорвалась на дороге, вблизи двора, где был привязан к дереву Алексей. Японцы, выскочив из дома, побежали огородами из станицы. Часовой посмотрел им вслед, приловчившись, трижды ударил штыком в грудь пограничника — там, где сердце, и, пыля, затрусил за ними.

14

Свершилось! Прощай, Монголия! Здравствуй, Маньчжурия! Слева горят какие-то постройки — не японский ли кордон? Больше нечему. Да и по времени мы уже должны были пересечь монголо-китайскую границу. Посвечиваю фонариком на свои французские, чудные: час ноль-ноль! Следовательно, головастиковские часики остановили свой ход в тот самый исторический момент, когда танк выстрелил у границы. М-да, с подобными часиками действительно влипнешь в историю. Подведут когда-нибудь крупно. Но других покуда нет. Встряхиваю рукой — затикали.

Темп мы поубавили: дышим умученно, носки заплетаются, пот в три ручья. А привала не предвидится. До привалов ли? Вперед! Туда, куда умчались танки, где дрожит зарево неблизких пожаров. Танки и передовые отряды размолачивают японцев. А мы, пехота́? Что, на нашу долю не достанется? Еще как достанется! В свое время. И все-таки странно: границу перешли без боя. Я-то думал: кровавые будут схватки, самураи будут яростно сопротивляться. На занятиях, беседах и сборах нам втолковывали: Квантунская армия — противник серьезный, японские солдаты и офицеры фанатичны и жестоки, воспитаны в самурайском духе, дерутся до последнего патрона, предпочитая плену самоубийство во славу императора — харакири, вспарывают себе живот. Наверное, оно так и есть. Но против наших солдат и офицеров вряд ли устоят, да и перед нашей техникой трудно устоять даже отборной Квантунской армии. Я в этом уверен. Еще испытаем свою силенку, придет срок, придет. Приграничные кордоны разгромлены разведгруппами и передовыми отрядами. А полевые войска японцев, возможно, подальше от границы, в глубине обороны? Я спросил об этом Трушина, и он ответил, отхаркиваясь:

— Мое мнение: полевые войска японское командование могло спешно, а то и загодя отвести к укрепрайону. Чтобы там дать нам сражение.

Конечно, и это не исключается. Пока здесь тихо. И только я так подумал, как метрах в ста пятидесяти, на правом фланге, забил огнистыми вспышками пулемет, разорвалась граната. Японцы стреляют или наши? Я подал команду, чтоб рота развернулась в цепь. Развернулись, залегли в траве. И поползли к пулемету. Явно японский: очереди проносились над нашими головами, и, когда полз, я подумал: не напоремся ли на мины, нет ли минных полей? На мины не напоролись, а пулемет замолк, как поперхнулся очередью: командир соседней, справа, роты дал мне знать, что его бойцы сняли пулеметчика. Возможно, из уцелевших при разгроме кордонов. И на сей раз нам повоевать не пришлось... Вперед!

— Суетишься, ротный,— сказал Трушин.

В былые времена я бы послал его куда подальше, а сейчас сказал:

— На войне иногда и посуетишься.

— Для нас войны покамест нету.

Нет, но будет. Посветлело — бледный, немощный месяц будто вскарабкался на гребень сопки. Стало видно: колонны и колонны, пыль над степью, хотя на травах роса, наши сапоги мокрые, грязные; пылюка лежит толстым слоем, никакая роса не прошьет ее насквозь. Дождя бы доброго, да мы уж подзабыли, что это за явление природы. С бездорожья свернули на нечто вроде проселка, перепаханного гусеницами. Месяц померк. В степи светлело по-иному: из-за сопок переплескивалась утренняя заря. Сумрак истончался, рассеивался, словно испарялся под лучами солнца. Оно как бы притушено желтой пылью, висящей над степью. Видимость приличная. Озираемся: те же сопки и распадки, что и в Монголии, те же ковыли, полынь, солончаки, каменные осыпи, пылюка, но уже Маньчжурия! Нас обгоняют автомашины, грузовые и легковые, мотоциклы-трещотки, самоходные установки, бронетранспортеры, танки ИС и Т-34. А я-то предполагал: танки впереди. Оказывается, далеко не все. Пролетают и самолеты: и бомбардировщики, и штурмовики, «Илы», прозванные немцами «летающей смертью» — для японцев тоже подойдет это прозвище. Давайте газуйте, с техникой пехота́ не чувствует себя сиротинкой!

Сколько идем? На французские не гляжу. Трушина Федю не спрашиваю, прикидываю про себя: часа три или четыре. Усталость прошла, явилось второе дыхание. Определенно четырехсоткилометровый марш по монгольскому степу закалил нас. Трушин прав, пригодилось. Всматриваюсь в него, в своих взводных, отделенных, рядовых. И, клянусь, ни одного унылого, сплошь выражение радостное, приподнятое. А интересно, испытывают ли они то, что испытываю я: маньчжурская земля была неласковой, чужой, враждебной, теперь же там, откуда японцы нами изгнаны, близкая, как своя.

Солнце начинает пригревать, а затем и припекать. Солдаты прикладываются к флягам. Памятуя опыт, приказываю: воду экономить. Не известно, когда попадутся колодцы, речки или пресные озера. Так же не известно, подвезут ли воду в цистернах-водовозках. Пока что нас нагоняют цистерны с горючим для танков и автомашин. Мы обогнули кумирню — разглядывать было некогда — у пересохшей безымянной речушки, по ее руслу машины шли, как по дороге. За пересохшей речонкой нас обогнал бензовоз и следом — «виллис». В «виллисе» — я признал их сразу — сидели подполковник, заместитель начальника политотдела дивизии, и майор, редактор дивизионки. Бензовоз газанул — аж камешки из-под колес, а «виллис» притормозил. Мы поравнялись с ним, и толстый очкастый редактор позвал:

— Лейтенант Глушков!

Я подошел, козырнул. Подполковник с розовым шрамом на лбу кивнул незряче: не узнал либо притворяется? Либо забыл, как сотворял мне втык в Восточной Пруссии за Эрну? На парткомиссию грозился выволочь. Не извольте сомневаться, товарищ подполковник: на сегодняшний день связи с немкой не поддерживаю. Майор сидя козырнул и, поблескивая очками, добродушно сказал:

— Давненько не виделись, товарищ Глушков.

— Не получалось как-то, товарищ майор.

— Редактор, не разводи... Покороче! — Замначподива выбивал пыль из фуражки.

— Позволит обстановка, поговорим, товарищ Глушков... Спешу! Вот для роты спецвыпуск нашей газеты. С важным документом! — Он сунул мне пачку, перевязанную шпагатом. — До встречи в Чанчуне!

— До встречи в Порт-Артуре! — Я отдал честь рванувшей машине. Да-а, а шофер «виллиса», кажись, тот самый, при котором замначподива учинял мне разнос за Эрну. Милая, далеко же ты от меня, и оправдываться не надо...

Федя Трушин как будто ревниво сказал:

— Редактор — твой дружок?

— Что ты! Майор, пожилой человек... Мне ближе редакционная молодежь, хотя и среди них приятелей нет. Так, добрые знакомцы...

— Оправдался. Но замечу в скобках: редактору надлежало б вручить газеты политработнику, мне то есть.

— Это ему скажи. Я-то при чем?

— Оправдался. Давай сюда пачку.

Я отдал. Он развязал шпагат, экземпляр протянул мне, остальные принялся раздавать в роте, приговаривая:

— Читайте «Советский патриот», спецвыпуск! Читайте важный документ! Читайте и делайте выводы!

А сам документа не прочел, только краем глаза схватил заголовок: «Заявление Советского Правительства Правительству Японии». Действительно, очень важно! Стараясь не оступиться, поглядывая и под ноги, я держал перед собой половинку газетной полосы, словно положил на пюпитр. Вот что прочел:

«8 августа Народный Комиссар Иностранных дел СССР В. М. Молотов принял японского посла г-на Сато и сделал ему от имени Советского Правительства следующее заявление для передачи Правительству Японии:

«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной военной державой, которая все еще стоит за продолжение войны.

Требование трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву. Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года.

Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, т. е. с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

8 августа 1945 года».

В. М. Молотов заявил также г-ну Сато, что одновременно с этим советский посол в Токио Я. А. Малик передаст Японскому Правительству настоящее заявление Советского Правительства.

Посол Японии г-н Сато обещал довести до сведения Японского Правительства заявление Советского Правительства».

Довольно-таки неосмотрительно на марше отвлекаться от своих обязанностей. Но какой документ! Конечно, я не вчитывался в каждое слово, пробежал глазами текст, уловил суть. И будто неким светом озарилось происходящее, все стало яснее и понятнее. Тем не менее лучше бы отложить раздачу и читку газеты до привала, но когда он будет, привал? Не утерпев, я прочел и напечатанное под этим заявлением «Заявление В. М. Молотова Послам Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Китая»:

«8 августа В. М. Молотов принял Посла Великобритании сэра Арчибальда К. Керра, Посла Соединенных Штатов Америки г-на В. А. Гарримана и Посла Китая г-на Фу Бин-чана и информировал их о состоявшемся решении Советского Правительства

объявить с 9 августа состояние войны между Советским Союзом и Японией.

Послы выразили удовлетворение заявлением Советского Правительства».

Еще более, чем иностранные дипломаты, удовлетворены мы, советские солдаты. Наша нота японцам справедливая, честная и неизбежная. Когда ее вручали господину Сато, мы проводили митинг или сосредоточивались у границы? Представляю, что за мина была на физиономии господина Сато. Нарком Молотов вручал ноту, а маршалы Василевский и Малиновский, так сказать, претворяют ее в жизнь. И мы, рядовые второй мировой, тоже претворяем.

Колонна сбавляет темп, а жара набирает: солнце печет, как и в Монголии, загорай — не хочу. А чего ж удивляться: здесь тоже пока Монголия, только Внутренняя. Собственно Маньчжурия будет подальше. Гимнастерки темнеют от пота. Фляжки, увы, облегчаются. Экономь не экономь, а пить охота. Ни озер, ни речонок не попадается. Зной, зной. От него свежая краска «Советского патриота» вроде бы тает и смазывается. Молодчаги все ж таки дивизионные журналисты: видимо, по радио приняли текст заявления, срочно в набор, тиснули, развезли по подразделениям. Оперативно! На газете пометка — «Специальный выпуск». И неизменное в рамке — «Из части не выносить». Да куда ж ее вынесешь, родную красноармейскую газетку, из части? В город, что ли, в увольнение? Где мы, там и часть, в данном случае на марше: несем, но не вынесем!

Поясница ноет, ноги дрожат («Поджилки трясутся» — так говаривают солдаты). Пот солонит во рту, разъедает царапинки и ссадинки, какие у тебя есть; от пота же зудят на твоем бренном теле места, где прививки: незадолго до боевых действий нам вкатили прививки от чумы и прочей холеры. Полковая врачиха красавица простодушно объяснила: миленькие, на территории Северо-Восточного Китая распространены инфекционные заболевания. А среди солдат — слушок: колют еще и потому, что японцы будут специально заражать бактериями чумы и прочей холеры воду и пищу, чтоб вызвать эпидемии в наших войсках. Мои взводные, Иванов и Петров, и уважаемый старшина Колбаковский эти слухи не опровергли. Напротив, сказали: в годы войны пограничники, чекисты, армейские подразделения выловили в Забайкалье изрядное количество японских диверсантов, которых забрасывали отравлять водоемы бактериями чумы, холеры, сибирской язвы, были у них с собой пробирочки. А что, может быть, самураи в Маньчжурии и поведут своеобразную войну, бактериологическую.

Я шагал, посматривал на батальонное начальство — нет ли каких сигналов от капитана, их не было, оглядывался на роту, не разбредаются ли, не отстает ли кто. С благодарностью отметил: замполит Трушин в задних рядах, не дает отстать. Притомились, тащатся, но марку держат, не жалуются. Хотя, очевидно, фляжки пусты. Слава богу, и охромевших не видать. И вдруг чую: сам хромаю! Когда захромал, не засек. Однако сейчас в левом сапоге непорядок, что-то мешает, трет подошву. Присаживаюсь сбочь проселка, стаскиваю сапог и — о позор! — портянка сбилась, потому намотана была наспех, неаккуратно. Кожа покраснела, припухла. Это, к счастью, не потертость. Это ее предвестник. Как же так? Поучал Геворка Погосяна, не говоря уже о молодых кадрах, а сам намотал портянку неровно, со складками? Виноват, исправлюсь. Переобувшись, догоняю роту. Вижу: Федя Трушин берет у низкорослого щуплого юнца винтовку, вешает себе на шею, как автомат. Юнец — фамилия его, если не ошибаюсь, Астапов — не противится, но бормочет смущенно и бессвязно:

— Да что вы, товарищ старший лейтенант... Да что я, товарищ старший лейтенант...

Трушин дает ему выговориться, а после спрашивает:

— Тебя как зовут?

— Астапов, товарищ старший лейтенант!

— Я про имя...

— Георгий.

— Ты родом из Сибири, да?

— Из Иркутска, однако.

— А мать тебя как звала?

— Готя...

— Готя? Так ведь у сибиряков Георгия кличут Гошей. Ласково если...

— Кличут. Но и Готей тоже...

— Ну так вот, Готя: трехлинеечку твою поднесу. Приободришься — верну. Договорились?

— Договорились, товарищ старший лейтенант... Спасибочки...

Трушин постукивает ногтем по своему гвардейскому значку, и Астапов поправляется:

— Спасибочки, товарищ гвардии старший лейтенант...

С десяток шагов идут молча, и внезапно Готя Астапов, как будто его прорвало, выпаливает:

— Товарищ гвардии старший лейтенант! Я всю войну рвался на фронт, с Востока на Запад, значится. Чтобы отомстить немцам за отца и братуху, сгибли оба... В военкомате не брали, однако: малые твои годы, трудись с женщинами в цеху. На трудовом фронте помогай Родине... Я помогал, но дожидался: призовут же когда-нибудь. И призвали, да война кончилась. Кому ж теперь мстить? Японцам? Я думаю: отца с братухой они ж не губили, однако мстить обязан. Потому как хоть счета личного у меня к ним нету, есть народный... Так же, товарищ гвардии старший лейтенант?

— За твоих родных, Готя, отомстили. Те, кто воевал на Западе. Но, видишь ли, соль-то не в одной мести. Мы же воевали за свою землю, за свободу России, Европы и всего человечества. И нынче воюем за Родину и все человечество! Самураи — враги, которых надобно разгромить. И ты здесь прав: счет у нас к ним общенародный. Великое зло причиняли они нашему народу. И еще могут причинить, если их не сокрушить... Нашли общий язык?

— Нашли, товарищ гвардии старший лейте-

нант! — воскликнул Астапов, воспрянувший и духом, и плотью, когда винтовочку нагрузил на себя Трушин. Солдатик даже улыбается, обнаруживая — нет переднего зуба. Щербат, как и Трушин!

И еще слышу — чей голос, не разберу:

— Назревают крупные события!

— Что за события? — спрашивают.

— Привал, холодная вода и горячий обед! Хотя заместо водички предпочитаю остуженное пивко...

Шутник, видать. В спину мне тычется его голосок:

— За войну столь оттопал верст, что верняком прошел десяток разов до дома. Дом у меня на Тамбовщине...

Тон у шутника, однако, не очень веселый, скорее грустный. Поражают и его тон, и его слова. Точно ведь: мы многократно оттопали расстояние до наших родимых домов, а попасть туда никак не можем. Но есть ли пристанище лично у тебя, лейтенант Глушков? Никак нет!

А привала не объявляют. Сколько ж прошагали от границы? Километров двадцать? Тридцать? Колонны смещаются на юго-запад, как я понимаю, в обход Халун-Аршанского укрепленного района: канонада там становится глуше. Воздух звенит, кажется, от зноя. Небо безоблачно; парит одинокий орел, словно выслеживает, куда мы идем. Потом в небе объявился самолет, вылетел из-за двугорбой сопки, как из засады, понесся над степью. Опознавательные знаки — круги, символизирующие солнце! Японец! Я проорал:

— Воздух!

Попадали на спину, стали палить по самолету. Он дал несколько очередей и, будто испугавшись собственной дерзости, развернулся — и деру за ту же сопку. Бойцы вставали, отряхивались, проверяли оружие; кто-то, шибко занудный, ворчал:

— Принесла нелегкая самурая... Теперича чисть канал ствола...

Почистишь. Не отвалятся ручки. На войне да чтоб не стрелять? Я скомандовал:

— Поставить курки на предохранитель!

Неприцельная, суматошная стрельба с самолета вреда не причинила. И чего он прилетал? Как с цепи сорвался, затем драпанул. Нет, ей-богу, странная война. Обстрел «гочкисом» и авиапулеметом — детский лепет по сравнению с западными баталиями. Там была война так война, страшней не придумаешь.

Орел по-прежнему парил, забирая вместе с нами юго-западнее, к хинганским отрогам. Мнится, отроги близки. Но до них пилять и пилять. Как и в монгольской степи, белели верблюжьи черепа с глазницами, забитыми песком; вроде бы слепые, а пялятся. Грызуны попрятались в норах. Попрятались и комары, зато докучает какая-то мошка, которой и солнце не помеха. Предвещает болотистую местность? Неужто могут появиться болота взамен солончаков, сыпучих песков, каменных осыпей и пыли, пыли? Неужто будут и настоящие бои? Они уже разворачиваются там, где передовые подвижные отряды? Иль там так же спокойно, как и у нас? А в укрепрайонах? В Халун-Аршанском канонадит. Но мы его, по всей вероятности, обойдем.

На привале личный состав поплюхался наземь, а ротных командиров комбат собрал, разложил карту, и мы гамузом принялись искать на ней пресное озерцо. Нашли! Но в натуре ничего подобного! Было углубление, были берега, не было пустяка — воды. Проще пареной репы: озеро давно высохло. Как офицеры ликовали, когда им вручали карты местности, на которой предстояло действовать! Карты новенькие и одновременно устаревшие, такое бывает. Словом, пресного озера, как изволил пошутить замполит Трушин, нетути. Комбат, помаргивая веками без ресниц, приказал:

— Товарищи офицеры! Выделите по пять-шесть человек от роты. Пускай выроют хоть неглубокие колодцы на дне озера. А ну появится вода?

Колодцы выкопали на глубину большой саперной лопаты — сухо. Шуровать лопатьем после многочасового марша — занятие не из приятных, требующее характера, выносливости и сноровки. На это я бросил свою западную гвардию: Логачеева, Кулагина, Свиридова, Головастикова, Погосяна, Черкасова. Они шуровали, умываясь пóтом; комки иссушенной, затвердевшей глинистой земли стукались, как камни. Рыли молча, если кто-нибудь пускал матюка, сержант Черкасов тут же обрывал:

— Отставить матерщину!

Толя Кулагин возразил было:

— С матом полегче трудяжить, товарищ сержант!

— Сквернословие еще никому и ни в чем не помогало...

— Хлопцы, то так: матюганы не украшают,— сказал Микола Симоненко.

И потому, когда стало очевидным, что в колодцах ни капли влаги, никто из землекопов не матюкнулся. Я бы предпочел другое: пусть ругаются семиэтажно, лишь бы вода засочилась. Какое там засочилась — сушь, сушь.

Комбат сказал:

— По маршруту километров через пятнадцать еще озеро.

— На карте? Или на местности? — спросил Федя Трушин.

— Будем надеяться, и на местности есть,— невозмутимо ответил капитан.

Теперь и землекопы валялись, подложив под головы скатки. Со скатками история. Я разрешил старшине Колбаковскому везти их (как и в других ротах) на повозках хозвзвода, но, на беду, нагрянул командир полка, вздрючил:

— Умники! Кони надрываются! Разобрать скатки!

Разобрали. Люди выносливее лошадей, это верно. Да и нагружены повозки сверх меры, в том числе ящиками с патронами и гранатами. Ну, лежим, нежимся: р а з б а л а к á л и с ь — разделись, разулись. Зной, жажда и голод: нет-нет да и засосет под ложечкой. Ни воды, ни завтрака, ни обеда, однако, не

подвозят. Возможно, потому, что время завтрака прошло, а время обеда не наступило: на моих французских полдень. Трушин сумрачно подтверждает:

— Двенадцать ноль-ноль.

Сумрачен, переживает, что бойцы без воды. И я переживаю, да перетерпим как-нибудь. Кое-кто сосет сухарик. Кое-кто, насилуя себя, курит. Дымок лениво вьется кверху. Безветрие. Оттого еще жарче. Солнце напекает башку так, что в висках кровь стучит подурному. Зной и безводье — наши основные враги. Кроме, разумеется, японцев. Наблюдаю сцену: Слава Черкасов взбалтывает флягу, сует одному из тех, что с цыплячьей шеей:

— Отпей. Глоток.

Тот глотает. Черкасов сует фляжку другому, такому же:

— Глоток.

И тот пьет. И вдруг — с невероятным испугом:

— Товарищ сержант! Кажись, хлебанул до донышка. Вам не оставил... Извиняйте!

Черкасов опрокидывает фляжку, ему на ладонь скатывается несколько капель, он слизывает их языком. Говорит:

— Пустое, Павлик. Скоро у нас вода будет...

Завинчивает пробку, флягу цепляет к поясу, ложится, вытягивая длиннющие ноги. Точно, ноги у него длинные, стройные, и вообще он стройный, лицо чистое, не шелушится, будто не обгорело, как у других, волосы из-под пилотки колечками. Справный парубок! Недаром на Красноярском вокзале невеста на нем повисла...

Да, все буквально растянулись на земле кто как может, чтоб мышцы расслабить. А я, вместо того, чтобы лежать, встаю и принимаюсь разглядывать лежащих. У каспийского рыбака Логачеева рукава закатаны по локти: русалки, якоря, спасательные круги, татуировка и на груди, в распахнутом вороте — рулевое колесо. У Егорши Свиридова нос вздернут и брови вздернуты, будто выдающийся певец-аккордеонист собирается изречь надменно: «Карамба!» Разномастные глаза Толи Кулагина прикрыты, и не определить, какой виноватый, какой с нахалинкой, а может, оба грустные, и так случается с Толей. Филипп Головастиков кряхтит, ерзает, никак не устроится повольготней, мясистые, угреватые щеки в резких складках выбриты — это редкость, Головастиков бреется по принуждению или по торжественным причинам, нынешняя — начало войны. Темноволосые и темноглазые, тяготеющие друг к другу, Погосян и Рахматуллаев и сейчас рядом, оба, запрокинувшись, следят за орлиным полетом. Оба сильней товарищей тоскуют по дому. Юный Готя Астапов читает спецвыпуск «Советского патриота», шевелит припухлыми губами, временами раздвигая их в простодушной улыбке, и тогда видна трушинская щербатинка. Вадик Нестеров и Яша Востриков, неиспорченные, благородные мальчики, книгочеи и всезнайки, тоже про себя читают заявление, многозначительно цокают. Читаки отменные: на марше в вещмешках таскают претолстые книжки — тут надо здорово любить изящную словесность! Парторг же Микола Симоненко, собрав вокруг в основном юнцов, послушных и внимательных, оглашает спецвыпуск на всю степь с выражением и поднимая торчком указательный палец, вкрапляя в официальный текст личные комментарии: «Ось так, хлопцы!», «Выкуси, герр самурай!» или «Не замай нас, не чепляйся!». Сержанты-близнецы, бывшие командиры взводов, и Петров с Ивановым, сегодняшние взводные, с газеткой ознакомились и нежатся, как на пляже, широко раскинув ноги-руки.

Я и в эшелоне, и после эдак иногда разглядывал своих подчиненных, схватывая внешние приметы, случайные, а хотелось схватить и другое. Проникнуть бы в их суть, в глубину характера, в нравственную сердцевину! Каждый же из них — личность своеобразная, неповторимая. По-видимому, сложная, противоречивая. По-моему, плоских, одномерных характеров нет. Так или иначе не один Петр Васильевич Глушков — думающая и чувствующая натура. Все люди! И как же хочется, чтобы они остались живы, эти брюнеты и блондины, зрелые и зеленые, женатые и холостые, с орденами и без!

Запыхавшись, подкатил малость сбросивший животик старшина Колбаковский — не брюнет и не блондин, скорей плешивый,— доложил: ротное имущество в сохранности, сам доглядает. И ему я пожелал мысленно: Кондрат Петрович, оставайся живым! К немому удивлению Колбаковского, полуобнял его за разгоряченное рыхловатое плечо:

— Доглядаете? Ну, спасибо, Кондрат Петрович...

15

От комбата команда:

— Приготовиться к построению!

Я рявкнул:

— Первая рота, подготовиться к построению!

Солдаты подхватились: наматывали портянки, обувались, заправляли гимнастерки, как в хомут, влезали в скатки, поудобнее закидывали ремень автомата или винтовки на плечо; и конечно же на горбе неизменный сидор — вещевой мешок.

В небе орла нет, только солнце, его прямые лучи прожигают. Зной. Безводье. Жажда. Она, как клещ, впилась в глотку и сосет, сосет, ненасытная. Горло пересохло, рот пересох, губы склеиваются, сплюнуть нечем. И откуда пот берется в три ручья? Выпить бы водички, самую малость!

Но на нет и суда нет. Надеемся: водовозы подъедут, самолетами канистры доставят. И еще надежда: десяток километров — и пресное озеро. Держимся. И будем держаться. Наше будущее таилось за сопками, чередой тянувшимися перед нами, растворялось в переливчатом знойном мареве. Это — ближнее будущее. А дальнее? Э, нашел о чем загадывать. Кто загадывает на войне? Двигай ножками. И следи, чтоб солдаты твои двигали ножками.

Мы двигали, и сопки, а за ними и отроги Хингана двигали нам навстречу. По крайней мере хотелось

бы этого. Тогда быстрей достигнешь цели. Облака пыли вставали там и сям, кочевали за колоннами, взбираясь на сопки и опускаясь в пади. Подчас облака сшибались, смешивались и, уже не расцепляясь, плыли единым фронтом. В степи стало как будто просторнее. Да так оно и есть: часть колонн ушла вперед, часть в сторону, часть осталась сзади, у каждой свой маршрут. И все равно скопище людей и техники. Думаю, никаких колодцев и озерков не хватит, все выдуют!

Как будто подстегиваемая жаждой и стремлением поскорей добраться до обещанного комбатом озера, колонна наша после привала взяла недурственный темп. Не такой, как при переходе границы, но дюже добрый. Задавало его, конечно, полковое начальство — вéрхи, на монголках. На монголку сел и комбат — видать, раненая нога не позволяла топать наравне со всеми. Да и зачем пéши, ежели лошадка положена? На всех нас лошадок не хватит, а комбат пускай едет. И полковое командование пускай покачивается в седлах: положено. А кому положено раскатывать на «эмках» и «виллисах» — пускай раскатывает. А нам топать! Дослужимся до соответствующего чина, не будем передвигаться пеши. Покуда ж шире шаг! Повторяю эту команду: «Шире шаг!», но чаще повторяю другую: «Не отставай, подтянись!»

Команды командами, а ротная колонна растягивается, хотя взводные покрикивают не хуже меня. Отмечаю: отстают преимущественно безусые и западники. Восточники, не год жарившиеся в здешних пустынях и полупустынях, попривыкшие к забайкальским и монгольским марш-броскам, выносливей. И это при том, что они еще не отошли от тыловой некогда нормы довольствия. Фронтовики изведали немыслимые бои, а вот немыслимые марши даются со скрипом. Кажется, по этой причине и сапоги скрипят въедливо, и песок на зубах, и даже колеса армейских повозок. Кстати, повозки так же успешно застревают в песке, как и автомашины. Приходится время от времени подталкивать плечами и те и другие. Умученные солдаты без понуждения пособляют рвущим постромки лошадям и нехотя — рвущим моторы, стреляющим бензиновыми выхлопами автомашинам.

Кое-кто из западников проявляет здоровую инициативу: снимает кирзачи, связывает их за ушки, перекидывает через плечо. Душой понимаю их: ступни сопрели, портянки хоть выжимай, трут-натирают. Разумом отвергаю: что за вид у воинов-освободителей босиком, сапоги на плече? После краткой, но изнурительной борьбы души и разума побеждает душа: черт с вами, босяки, сверкайте пятками, только топайте, не отставайте. Однако босяки недолго продержались: острые камешки, жесткие стебли какой-то незнакомой травы; поднимали ноги, как цапли, а там и вовсе стали обуваться. Не вышел номер! Теперь нагоняйте, инициаторы.

— Не отставай, подтянись!

Выкрикивать мучительно: язык приклеивается к нёбу, сами слова приклеиваются, не вытолкать,— высушенные, как вобла, царапающие. А вобла хороша под пиво, в сороковом в городе Лида вкусил «жигулевского»! Не хочу воблы, хочу пива! Согласен и на обыкновенную водопроводную влагу!

Дай слиться воде из крана, чтоб была свеженькой, прохладненькой. Выпьешь в летнюю жарынь кружечку, другую — ах, благодать! Московская водица славится повсеместно, да и в Ростове-на-Дону водица я т-те дам! Жаль, мало испил, надо было нажимать, надуваться впрок.

На подмосковной даче, куда ездили с мамой и отчимом, уважал-обожал покачаться в гамаке, развешенном между березой и липой, поваляться на травке в лесочке. В Ростове-городе — с дружками-приятелями поваляться на пляже, возле донской волны. Благодать!

Полк то держался проселка, то сворачивал на бездорожье, на целину, кружили и петляли, снова выбирались на проселок — прежний либо новый? Возникала и мысль: не плутаем ли, не сбились ли с маршрута? В бескрайней пустыне это несложно — сбиться. Но полковое начальство не спросишь: не путаете ли, уважаемые, туда ли ведете? Уважаемые и без тебя знают, что и как делать.

Вздрагиваю от истошного вопля:

— Гляди!

Гляжу вместе со всеми: впереди, перед сопочкой, переливается, рябит озеро — холодное, чистое! — и берег его недалеко, вот-вот подойдем. Как я раньше не заметил?

— Вода! — Этот крик, многократно повторенный, подхваченный и мною, сорвал людей с проселка, кинул к сопочке. Я бежал, опережая иных. Бежал, пока озеро не исчезло! Остолбенел, протер глаза. Что было у меня на физиономии, можно определить, глядя на подчиненных: растерянность, досада, злость. Определяю: марево, потоки струящегося знойного воздуха, его игра и породила мираж. Ах, эти игрушки...

— Елки-моталки! Уж лучше б не привиделось, а то растравило... Напиться бы, ребятки!

— Хочь не от пуза, хочь малость, хочь полфляги...

— Обман трудящихся! Я считаю, обман!

— Чтоб тебе ни дна ни покрышки...

Кому — тебе? Мареву, миражу? Собственным глазам? Но эта ругань деликатная, заворачивают и покруче.

— Прекратить! И шагом марш на дорогу! — обрываю я.

А сам плетусь, как побитая собака. Да и все, как побитые. Но ругаться бессмысленно: жажду снимет, что ли? Заученно командую:

— Не отставай, подтянись!

На мои слова реагируют не очень энергично; усталость цапает людей за ноги, как утопающий, мертвой хваткой. Но ладно: через пять-шесть километров — озеро, з а п л а н и р о в а н н о е комбатом. Обозначенное на карте! Это вам не мираж! Знаю, что на

войне планы — рискованная штуковина, однако упрямо думаю: «Коль запланировано — будет!» В предвкушении воды, привала, обеда и прочих райских радостей Трушин, я, взводные и отделенные берем у ослабевших солдатиков скатку, оружие или противогаз — с сидором, вместилищем солдатских сокровищ, не расстаются. Бойцы и сами помогают друг другу. Может быть, пример командиров действует.

Как дорожные столбики, стоят тарбаганы. Увы, обозначают они не дорогу, которая подчас теряется, словно уходит в песок. Просто любопытны. И вообще пообвыклись, наше воинство их не распугивает. Солнце высоко. Жара густеет. Вдали, над Хинганским хребтом, закучились пепельные облака. Но к нам не пошли, зависли над отрогами. Будто затаились в засаде, как японские войска в глубине обороны. Смотрю на облака и думаю: не раз так вот возникали они и, не обронив ни капли, откочевывали в Маньчжурию. Теперь мы сами в Маньчжурии. Где-нибудь и сойдемся...

Часом позже вновь возникает озеро. Оно несколько меньше того, привидевшегося, но полноводное, в бликах и в зыби и так же маняще-холодно и чисто, без камышей. Опять вопль:

— Гляди! Озерочек!

На вопль отзываются не так, как в первый раз:

— Сызнова мстится?

— Ах ты, елки-моталки! И когда кончится обман трудящихся?

— Точняком, это обман зрения! Нечего тут глядеть!

Это, однако, не оптический обман! Озеро настоящее, всамделишное! Живое озеро! Не веря себе, чешем к берегу. Зачерпываем котелками, кружками, флягами, пилотками. Пьем. И как же искривляются лица от разочарования и отвращения! Логачеев орет благим матом:

— Что за вода? Горько-соленая!

Филипп Головастиков выплескивает из фляги, бубнит:

— С нее пронесет, как с английской соли...

— Фу, пакость! — Егорша Свиридов зол, как задержанный в самоволке солдат. — Но у Тольки Кулагина запоры, ему пользительно.

— Пить нельзя,— стонет Кулагин, не внимая Свиридову. — Пить нельзя! И тут обман трудящихся масс!

Мы с Трушиным обмениваемся взглядом, как бы укоряя друг друга: «Что ж ты, браток? А я-то понадеялся на тебя». Или что-то в этом духе. Сержант Черкасов невозмутимо произносит:

— Не везет нам. Будем терпеть.

Не глядя на Трушина, говорю:

— Будем терпеть, хлопцы! Воду автомашины подбросят.

— Либо самолеты,— говорит Федор, в свою очередь не глядя на меня. — Тылы отстали... Но не дадут же пропасть нашей доблестной дивизии!

Он сводит к шутке, которую не приемлют. Угрюмые, насупленные солдаты отходят от берега, без команды строятся в походную колонну. Доносится речитатив комбата:

— На карте оно пресное! Вероятно, засолонилось...

«Врут карты,— думаю огорченно. — Но без питья и впрямь загнемся! Жажда нас доконает! Однако шагать надо. И мы шагаем. Борясь с жаждой, усталостью и сонливостью. Где японцы, когда будут бои?»

— Есть присловье: все врут календари. А тут карты врут,— говорю я и смотрю на Трушина. — На них обозначены полевые дороги, а здесь — одни караванные тропы: верблюжьи копыта выбили. И куда ведут эти тропы, аллах ведает. Заведут не туда, куда нужно, доказывай потом, что ты не верблюд!

И Трушин смотрит на меня, и Трушин многословен:

— Карты приблизительные, да... Мы должны больше полагаться на собственную интуицию, чем на топографические карты. И озера на них помечены питьевые, а их в помине нет. И поселений, отмеченных на карте, в действительности — тю-тю...

Мы как будто извиняемся друг перед другом.

А поселение, обозначенное картографами, нам попалось на очередном десятке километров. Называлось оно Улан-Усу. Усу — вода, утверждает Федя Трушин,— значит, в поселке должны быть колодцы! Если их только японцы не отравили. Недвижно стояла в раскаленном воздухе пыль, поднятая колесами и ногами, и кажется, она никогда не осядет. И вот сквозь пылевую пелену слева замаячили глинобитные мазанки и фанзы. В колонне оживление, говор, выделяется фраза:

— Населенный пункт! Побачим, как живут за границей...

Я прикидываю: головная походная застава прошла этот маленький поселок — не пункт, а пунктик,— стрельбы не было. Проходим: покосившиеся, полуразваленные, в пересекающихся трещинах мазанки и фанзы, задичавшие, захлестнутые бурым бурьяном дворики. Ни единой живой души. Ни человека, ни животных, ни птиц. Лишь у колодцев с полусгнившими срубами или обложенных серыми плоскими камнями табунились славяне, дзенькали пустые ведра. Мы с Трушиным, Иванов и Петров свернули к колодцам. Слышим:

— Нету воды?

— Была да сплыла!

— Сухой-сухой. Как у тебя глотка!

— Вода куда-то ушла...

— Потому и жителей нет. Ушли, видать, как только ушла вода...

Вполне возможно. Судя по обветшалости жилищ и запущенности двориков, поселок давненько необитаем. А вообще-то, предчувствуя войну, японцы отселяли местных жителей за Хинган, в глубь Маньчжурии. Ну что ж, пошли дальше. Оставляем за собой лачуги, пристраиваемся к колонне. Где же вы, водоемы, где же вы, полные до краев термосы и ка-

нистры? А когда освободителям подвезут обед? Тылы отстали? Мало вас гонял комдив, товарищи интенданты! Вообще на интендантов принято все шишки валить. На кого же еще?

В километре за населенным пунктом при дороге валялись два трупа. Японцы. Рассматривать было некогда, но каждый взглянул. Взглянул и я: одежда цвета хаки, на ногах то ли обмотки, то ли гетры, с обоих не слетели фуражки. Японцы лежали на своих карабинах, ничком, подломив руку или ногу, в неудобной даже для мертвого позе. Подумал так: неудобная даже для мертвого поза — и нахмурился: под японцами подзасохли лужи крови. Трупы были напоминанием, знаком того, что при стрельбе иногда убивают.

Еще подумал: эти двое нам уже не страшны... В некоем романтическом писании (не в дивизионке ль?) вычитал о погибшем бойце: дескать, он и мертвый был страшен врагам! Выспренность и неправда: страшны живые, и мы, живые, страшны для врагов. Так же как и они для нас. Мои мысли об убитых японцах не были жестокостью. Это просто фронтовая жизнь. А вот на солнцегреве трупы раздует, засмердят, но никто их не собирается закапывать: не отставай, подтянись, шире шаг! И это тоже фронтовая жизнь. Закопают позже...

И тут нагоняют полевые кухни! Ура! Сладостная команда:

— Прива-а-ал!

Ее повторяю с удовольствием, с наслаждением и дольше, чем нужно. Колонна сворачивает, роты обособляются: кучками рассаживаются, освобождаясь от ноши, разуваясь. Ядреный запашок от портянок улетучивается не сразу. Меж солдатами снует вислоусый и вислоухий санинструктор, будто скособоченный санитарной сумкой, начальственно покрикивает:

— Признавайтесь, у кого потертости?

Не признаются, а кое-кто посылает помощника смерти туда-то. Игнорируя несознательность, санинструктор наклоняется, осматривает ступни, строптивым выговаривает:

— Охромеешь — хрен тебе цена!

Есть ли потертости, нет ли, а топать надо. Но и ножки беречь, конечно, надо. Вдруг вспоминаю об убитых японцах. Мы ушли, они остались лежать на карабинах, на пыльно-кровавой ржавчине. Подзасохшая, ржавая кровь — это знакомо. Будем обедать невдалеке от этих трупов. На Западе такое соседство бывало и поближе. Под Оршей, под Осинстроем, например. В январе сорок четвертого, когда было наше наступление неудачное, захлебнувшееся. Сколько ни поднимались в атаку, немцы укладывали страшенным огнем. Нигде после я подобных потерь не видывал: труп на трупе — закаменевшие, занесенные снегом. Ими были забиты нейтралка, окопы и траншеи, и обед мы хлебали из котелков здесь же... На этом наступлении, говорят, погорел наш командующий фронтом: перевели на другой фронт, начальником штаба. Уж слишком велики были потери... Здесь, на привале, обед мы получили, как под Оршей: первое и второе, суп и каша — вместе. Проще сказать: густой суп. Плюс тонюсенький ломтик консервированной колбасы, повертев который, верный ординарец Драчев изрек:

— Через него видно матку боску!

Ну да, в Польше подцепил. Когда ломтик сыра или колбасы сверхтонкий, поляки говорят с неодобрением: через него видно матку боску, по-нашему — матерь божью.

Воды нам не привезли, но одна походная кухня была с чаем, и каждому досталось по кружке. Матка боска, разве ж напьешься? Мы сперва выпили чай (Выпили! Мазнули по губам — вот что это!), затем захлебали супец. А ломтик колбаски с хлебом как бутерброд — на второе. На третье — фига с маслом. Обычно на третье был чаек, сейчас он пошел на закуску. Закуска, десерт... да ну вас к черту, водички бы, чайку бы от пуза! Трушин уверяет, будто командир полка сказал, что вот-вот будут самолеты с водой. Дай бог! Котелки мыть было нечем, и солдаты выскребали их ложками, протирали кусочками хлеба. Старшина Колбаковский поучал:

— Хоть вылизывайте! Но чтоб были чистые стенки. Иначе пристанет песок...

Солдаты отдыхают, а офицеры колготятся — это закон. Вскоре и за мной явился посыльный, увел к батальонному начальству. Капитан информировал ротных: командир полка требует повышения бдительности, ибо японское командование оставляет у нас в тылу летучие отряды, рассредоточенные на мелкие группы; их задачи — шпионаж, диверсии, нападение на наши коммуникации, на отдельные гарнизоны и подразделения; эти летучие отряды — иногда численностью до четырех тысяч человек — сформированы из ярых самураев, отлично вооружены, имеют заранее подготовленные военно-продовольственные базы в глухой местности. Об этом командира полка информировал комдив, комдива — комкор, комкора — командарм. По этой же лесенке вниз было спущено и другое предупреждение: остерегайтесь смертников из частей спецназначения, их основная задача — уничтожение командного состава и боевой техники советских войск; действуя мелкими группами или в одиночку, смертники уничтожают офицеров и генералов холодным оружием из-за угла, танки подрывают, бросаясь под них со связками гранат или с минами, часть смертников специально подготовлена для взрыва мостов на путях наступления наших войск..

Командир батальона чеканит: «Бдительность и бдительность!» — и распускает ротных. Теперь я должен проинформировать взводных, а те — отделенных, а те — солдат. Нет, перешагнем несколько ступенек служебной лестницы: насчет летучих отрядов, смертников и бдительности говорю сразу всему личному составу роты. Солдаты слушают с достаточной серьезностью. Вполне серьезен и я: наши враги не только жара, жажда и расстояния.

— Подготовиться к построению!

Выполнять команду солдаты, однако, не торопят-

ся. Старшина Колбаковский в таких случаях говорит: «Не чухаются».

— Подготовиться к построению!

Полеживают, посматривают друг на друга: кто первый поднимется? На меня забывают посмотреть.

Я рывком поднимаюсь и рявкаю:

— Вста-ать!

Подействовало. С позевыванием, кряхтением, ворчанием начали наматывать портянки, натягивать сапоги и ботинки, скатывать шинели, разбирать оружие. Ворчливей всех Егорша Свиридов:

— Построиться завсегда можно. Но ты спервоначалу напои по норме...

О норме запел! Сержант Черкасов — внушительно:

— Свиридов, кончай шаманить!

Словцо новое в нашем обиходе, солдаты заинтересованно поворачиваются к Черкасову, сам Свиридов на секунду замирает. А затем — с достоинством:

— Чего мне шаманить, сержант? Я не шаман...

— Кончай, кончай! Становись в строй!

Так или иначе, выраженьице полюбилось враз. Через четверть часа на марше и я уже сказанул повздорившим — кто-то кого-то толкнул — бойцам:

— Кончайте шаманить!

Когда я спросил Трушина, где же обещанные самолеты с водой, он ответил:

— Кончай шаманить, Петро!

— Ну, коль политработник употребляет это словечко — узаконено!

— Воздух, воздух!

Задрали головы, но укрываться не бросились. Поскольку самолет наш. Здравствуй, долгожданный! Не кружи, не тарахти, садись. Посадочных площадок сколько угодно. Выбирай по вкусу и садись. А самолет, милый У-2, разлюбезный «кукурузник», оттарахтев, опустился на равнинке, и от роты потребовали трех бойцов с термосами. Устали, измучены, но добровольцев — хоть отбавляй. Разумеют, хитрецы: там, где воду будут разливать по термосам, можно попользоваться на дармовщинку, на халяву. Короче — урвать сверх положенного!

Колбаковский выбрал настырных — Кулагина, Логачеева и Свиридова. Резвой трусцой они двинули к самолетику, словно боясь опоздать, словно воду раздадут и нашей роте не достанется. Вероятно, того же остерегались и полномочные представители других подразделений: не шли, а трусили рысцой.

Возвратились посланцы с термосами за спиной, мужественно-скорбные: во-первых, как выяснилось, урвать сверх нормы не удалось, жмоты на раздаче попались, а, во-вторых, термосы были налиты лишь до половины — «кукурузник» привез мало воды. Подсчитали: по полкружки на брата. И за то спасибо, хозяева неба.

Воду выдавал Колбаковский. Выверенность его руки была поразительна: зачерпывает кружкой — ровно половина. Получай! Следующий! Первую кружку Кондрат Петрович подал Трушину:

— Прошу, товарищ гвардии старший лейтенант!

Федор неспешно выпил, обтер губы. Колбаковский зачерпнул мне:

— Пейте на здоровье, товарищ лейтенант!

— Благодарю, Кондрат Петрович...

Я перелил воду в свою кружку, поднес ко рту. Тепловатая и солоноватая, вода показалась холодной и сладкой, как из родника. Стараясь не жадничать, выпил до капельки. И неожиданно крякнул. Старшина рассмеялся:

— Дюже понравилось? Добавки дать?

— Ты не шутишь, старшина? — спросил Трушин.

— Никак нет! Командиру роты и вам положено еще... И Петрову с Ивановым, так как лейтенанты... Офицерам положено! — И он протянул мне кружку.

Я отстранил ее, сказал:

— Кондрат Петрович, оставь! Нормы действуют для всех, без исключения!

— Кончай шаманить, старшина! — резко сказал Трушин, и Колбаковский покраснел: бурая от солнца кожа еще сильней побурела. Он открыл рот, но ничего не ответил, махнул рукой, отвернулся.

Мне было нехорошо и от резкости Трушина, и от услужливости и обидчивости Колбаковского, и от собственной растерянности. Чтобы преодолеть ее, сказал:

— Кондрат Петрович, если останется лишняя вода, наполните несколько фляжек. Ротный энзэ... Будем выдавать наиболее ослабевшим...

— Слушаюсь,— буркнул старшина.

— Продолжайте раздачу воды. Чтоб всем хватило!

— Слушаюсь...

После заминки, вызванной раздачей воды, шагать пришлось ходко. Обязаны поспешать: вкусили водички. Хотя, если по-честному, полкружки не притушили жажды, скорей разожгли ее. Ничего, когда-нибудь напьемся всласть. Степь, полупустыня, сопки и пади — на все четыре стороны. Чем дальше на юго-запад, тем круче сопки и глубже пади — в расщелинах темнее. Где-нибудь там могут скрываться группы из летучих отрядов, смертники из спецчастей. А почему бы и нет? Днем вряд ли рискнут высунуться, ночью — вполне. До ночи не так уж далеко.

На сопке опять кумирня, такую уже видели в Маньчжурии и такие видели в Монголии, одну — возле станции Баян-Тумэнь, от которой мы порядочно оттопали! Небо голубоватое, умиротворенное, самолетов никаких нет. Машин в степи стало поменьше. Впечатление: одна пехота остается, да и она вроде бы рассасывается, втягиваясь в распадки. Зной спал, дышится раскрепощенней, и потеем не столь обильно. Но усталость наваливается, пеленает руки-ноги. До привала, до ночевки доковыляем. «Ползем» и «ковыляем» — для красного словца. Идем мы нормально. Как положено, если за плечами километров сорок, а то и пятьдесят. А? Приличный отрезочек? И откуда выносливость, прямо-таки фантастическая?

В сгущавшихся сумерках добрались до места но-

чевки у подножия безымянной сопки. Ужина не было, и чая не было. С батальонной кухни нам дали немного воды, к ней я приплюсовал те несколько фляжек, что давеча наполнил Колбаковский. Воду делили под моим непосредственным наблюдением: ослабевшим — поболе, крепким — помене, офицеры и старшина Колбаковский отнесены ко вторым. Пососав сухарик и запив водичкой, солдаты раскатывали шинели — и мертвецки засыпали. Воздух посвежел, и потное тело быстренько остывало. Ночью, пожалуй, просифонит. И мы с Трушиным, как бывало на фронте, улеглись спиной к спине: одну шинель под себя, второю укрылись. Да-а, прохладно... А что за жарилка была днем! Я сказал: как бывало на фронте. А сейчас разве не фронт? Называется: Забайкальский...

Шуршала трава, словно в ней ползли, на сопках в низкорослых кустиках посвистывал ветер, словно кто-то кому-то давал условный знак. На фоне неба — силуэты часовых: посты усилены, указания командира полка материализуются. Я подтянул ноги, налитые тяжестью; ею, однако, налито все тело, каждая клеточка. Не скрою: и на душе не было особой легкости.

Повертевшись и повздыхав, Трушин сказал:

— Спокойной ночи, Петро.

— Спокойной ночи, Федор,— ответил я и почти сразу уснул.

Временами что-то отрывочно, размазанно снилось: незнакомые женщины, незнакомые дети, знакомый пушкарь Гена Базыков, отхвативший Героя, лязгающая гусеницами тридцатьчетверка, пехотные колонны, пустая фляга, редактор с пачкой дивизионки, соленое озеро, обиженный старшина Колбаковский, убитые японцы, скрип повозочных колес, стрельба из «гочкиса», из «максима», из танковой пушки.

16

Стрельба-то и разбудила. Вернее, я проснулся и от стрельбы и оттого, что Трушин тряс меня, как грушу:

— Петро, тревога!

Вскочив, я схватил автомат. Огляделся. Трушин стоял уже с автоматом на груди. А стреляли часовые — то ли вверх, то ли куда-то в темную степь. Подумалось: своих бы не перестрелять. Солдаты занимали круговую оборону. Мы с Трушиным залегли в цепи на влажной от росы траве. Со сна прохватывало ознобом. И от некоторого волнения: что стряслось? Надо подать голос, скомандовать, чтоб учуяли: командир здесь, командир знает, что к чему. Не знаю, но кричу зычно:

— Внимание! Без моей команды не стрелять!

Между тем часовые прекратили пальбу, вверх пошла серия осветительных ракет: в белесом колеблющемся свете трава, наша цепь, в степи вроде бы, кроме нас, никого. Ракеты прогорели, стало темней, чем прежде. И эта темнота подбавляла неразберихи, нервозности. Пробежал комбат, пробежал адъютант старший, ни Трушину, ни мне ничего не сказали. Опять серия ракет. Опять непроглядная тьма.

— Чертовщина! — шепчет Трушин. — Тревога, а непонятно отчего... Ты оставайся в цепи, будьте начеку, я разыщу комбата, разузнаю...

— Понял,— говорю. — Мне дай знать.

— Ворочусь в роту.

— Понял...

Трушин растворился во мраке. Где-то переговаривались — голос комбата и чей-то еще. Слов не разобрать. Я застегнул ворот гимнастерки, поплотней надел пилотку и уразумел: проделываю это, чтобы унять волнение. А оно росло, ибо была неопределенность, была неизвестность: что же произошло? Не перевариваю неизвестности, по мне пусть будет хуже, но зато определенность — ты соответственно соображаешь, как поступить. А тут и соображать нечего: лежи и жди распоряжений от комбата. И распоряжение пришло: отставить тревогу. А потом заявился и друг любезный Федя Трушин, объяснил:

— То ль часовому помстилось, то ль в реальности: якобы к расположению подбирались. Мелькнули тени, и он выстрелил вверх. Тревогу подняли и другие часовые, хотя они ни черта не видели. Просто поддержали первый выстрел...

Поддержали? А может, нервишки не выдержали? Наслышались гаврики про смертников, летучие отряды, вот и пуляли посередь ночи. Егор Свиридов сострил:

— Сами не спят и людям не дают!

Это он о часовых. Не очень остроумно, но бойцы засмеялись, и напряжение спало. Сноровисто улеглись на шинельки добирать сна. И то дело — мы с Трушиным тоже улеглись. До подъема на рассвете продрыхли без происшествий, и после побудки, сладко потягиваясь, певец-солист и остряк-самоучка Егорша Свиридов сказал:

— Я сегодня нежился с одной особой.

— С какой? — наивно спросил Филипп Головастиков.

— С особой женского полу, Головастик! Во сне! — И захохотал, вынуждая и Головастикова изобразить улыбку.

— Егоршу смертники пужанули, он к бабе и кинулся под подол! — вклинился Толя Кулагин.

И начался перепляс, то есть треп в лучших традициях — с шуткой, с подначкой, с соленым словцом. О ночном происшествии отзывались, в общем, иронично: сослепу, с переляку часовые учинили пальбу, устроили шухер, утром небось стыдно было глядеть на товарищей, коих взбулгачили своими выстрелами.

Рассвет едва брезжил, когда колонны стали вытягиваться на караванную тропу. Поспали мы часов шесть-семь, вполне прилично. Но не отдохнули: мышцы болели, поясница ныла, голова несвежая, дурманная и пересохшая еще во сне глотка. Жажда сразу точит, как червь. День обещает быть жарким и ветреным. Закат вчера не был багровым, сулящим ветер, однако вопреки приметам задувало, несло песок.

И кажется, ветер усиливается. Значит, великая пустыня Гоби не дремлет, посылает сюда свои гостинцы — обжигающие суховеи. Степь ожила: гудят машины, поскрипывают повозки, топочет пехота; в отдалении — гул наших бомбардировщиков: две эскадрильи. В отдалении же — артиллерийская стрельба. Вторые сутки войны раскручиваются...

На марше нас и настигла весть, от которой я похолодел, хотя уже пригревало добре. По колонне прокатилась команда:

— Командиры батальонов и рот, в голову колонны! Срочно к командиру полка!

Я догнал комбата, и мы вышли из строя. Подождали, пока подойдут остальные ротные. Вместе нагнали голову полковой колонны. Капитан доложил командиру полка: по вашему приказанию явились... Не слезая с коня, командир полка кивнул. Он ехал, мы шли, он не глядел на нас, мы на него поглядывали. Что-то мне не понравилось в его облике: брови насуплены, рот сомкнут, катаются желваки, а плечи опущены, будто сгорбился под ношей, которой у него нет. Командир полка славился подтянутостью, выправкой, а тут — сутулится... Когда подошли офицеры из других батальонов, он спешился, отдал поводья коноводу и сказал нам:

— Отойдем на обочину.

Перед нами проходили солдаты, смотрели на нас с любопытством. А комполка говорил, едва разжимая губы:

— Ночью японцы вырезали батарею. Только что по рации сообщил комкор... Сняли часовых, набросились на спящих. И ножами... Мало кто уцелел... Генерал требует пресечения малейшей беспечности. Всемерно повысить бдительность! Пусть этот трагический урок послужит всем нам... Того же требую и я! Вопросы есть?

— Какие-нибудь подробности известны? — спросил комбат-3.

— Подробностей нет. Кроме одной: батарея ночевала невдалеке от нашего полка,— сказал начальник полкового штаба.

— Вот именно,— сказал командир полка. — Делайте выводы...

Нам с комбатом пришлось нагонять свою колонну, офицеры из второго батальона с обочины шагнули прямо к подчиненным — те как раз проходили рядом, а офицеры третьего батальона остались поджидать подразделения. Я подумал об этом, чтобы не думать о другом: может быть, они подбирались ночью к нашему расположению, но их отогнали? Возможно и это. Не исключено, однако, что подбиралась и не эта группа. Сколько их в летучих отрядах?

Вот она — японская армия. Пощады от самураев не будет. Но пускай и от нас не ждут пощады. Отомстим!

Наверно, впервые не я узнал новость от Трушина, а он от меня. Не сообщать бы об этом! Трудно говорить. Но надо. Федор даже застонал:

— Бедные ребята... — Взял себя в руки, сказав по-деловому: — Нужно провести беседы агитаторов об этом злодеянии, озадачить личный состав, нацелить на повышение бдительности.

«Озадачить», «нацелить» — канцелярские слова, неприложимые к трагедии на батарее, но я сказал:

— Беседы проведем, коль надо... И отомстить надо!

— В бою отомстим, Петро!

— Рассчитаемся...

Марш продолжался, а над нами словно витали тени погибших артиллеристов.

Пески сменяются кремнистой почвой, та — солончаками, солончаки — снова песками. «Студебеккеры» буксуют, шоферы бросают под колеса доски, тут же перемалываемые в щепки. Солдаты подходят к машине, секунду стоят в ее тени, после толкают под грузчицкое «Раз, два — взяли! Еще раз — взяли!». Набредаем на заброшенный, но не сухой, а с грязью колодец. Командира полка осеняет: почерпаем, может, доберемся до воды. Объявляется малый привал, и саперы, обвязавшись веревками, спускаются в колодец, поднимают ведра с разжиженным грунтом. Содержимое вываливается на землю, а ведра снова черпают грязюку. Командир полка смотрит-смотрит на потеки грязи и говорит командиру саперного взвода:

— Лейтенант! Пропустите эту грязь через песчаный фильтр. Можем получить воду...

Лейтенант, тоже сообразительный, приказывает саперам:

— Продырявить дно в двух ведрах. Чтоб как сито...

В эти ведра насыпали песок. В первое ведро вылили вынутую из колодца жижу. Выцеженную из первого ведра мутную жидкость пропустили потом сквозь второе. Потекла почти чистая вода! Командир полка зачерпнул и выпил:

— Годится!

После этого разрешил снять пробу полковой врачихе-красавице. Она оттопырила мизинчик, обмакнула губы-бантики, пропела:

— Водичку разрешаю употреблять...

Командир полка и врачиха пробовали, а мы ворочали, казалось, распухшими языками и мучительно сглатывали вязкую слюну. Это называется: слюнки текут. И как будто не было только что скорбных мыслей о погибших артиллеристах. Мысли были иные: достанется ли и нам хлебнуть этой выцеженной из грязи и песка водицы, наверное, она вкусная-вкусная? Так вот переплетаются трагедия и быт...

А ветер швырял песок сперва горстями, затем словно лопатой, затем не разберешь как — навалом. И уже крик:

— Песчаная буря идет!

Солнце потускнело, и вроде от него исходил порывистый раскаленный ветер. Командир полка поспешно приказал:

— Укрыть оружие, технику! Люди — под плащпалатки!

Ветер уже шквалистый. Округу заволокло песчаной тучей. Не продохнуть! На капоты машин, на ору-

дийные стволы натянуты чехлы из брезента, офицеры и солдаты на корточках, прикрытые плащ-палатками и накидками, прижимают к себе автоматы и винтовки. Я сижу, согнувшись в три погибели, изредка высовываясь на свет божий: что там? Все седое от песка и пыли. И опять думаю о зарезанных артиллеристах. Это десятки человек. Некоторых знал в лицо, некоторых — лишь пофамильно, большинство — незнакомо. Моя слабинка — богатое воображение. Представляю, как лежат трупы: ничком, навзничь, перерезанное горло, проколотая на спине или груди гимнастерка — и спереди и сзади достанешь до сердца,— закатившиеся глаза, искривленный предсмертным стоном рот, пропитавшаяся кровью одежда. Не хочется видеть кровавых подробностей, а вижу. Я их стараюсь отодвинуть подальше, в туман, в мóрок, в песчаную пелену, а они проступают. Не надо мне подробностей! Вместительная братская могила — и все. Над такой и фанерный обелиск, и жестяная звезда побольше...

Артиллерийские расчеты убиты, и орудия осиротели. Орудия-сироты. А ведь у кого-то из артиллеристов были дети. И дети стали сиротами. Что же с ними станется? Что станется с тысячами и тысячами осиротиненных войной мальчишек и девчонок, с тем беспризорником, что верещал частушки на Минском вокзале? Не уходит он из моей памяти... Я и сам сирота. Великовозрастный, правда. О погибших артиллеристах поплачут родные, обо мне — некому, если убьют. Друзья-фронтовики обходятся без слез, плачут лишь близкие женщины и родня. И сирот после меня не останется. Возможно, это и хорошо, что у меня нет своей семьи, нет детей. Да что же о себе толковать, куда свернули мысли?

Высунувшись из-под плащ-палатки, определил: окрест по-прежнему песчаные тучи, но метет не столь сильно. Толчки ветра уже не напоминают удары. Все-таки еще с полчаса просидели в укрытии, в итоге набралось два часа сидения! Два часа потеряно для марша, за это время куда можно было утопать! И к тому же не отдохнули: скрючившись, изнывали от духоты, от недостатка кислорода. Сомневаюсь, чтоб кто-нибудь даже из бывалых, из умудряющихся спать на ходу, в этих условиях мог задремать.

Мы вылезали, как из нор, из-под засыпанных песком плащ-палаток, отряхивались, отфыркивались, отплевывались, выбивали пилотки. И здесь сюрприз: наш колодец завалило песком так, что и не видать. Командир полка сказал:

— До вечера прокопаемся. Придется бросить...

— Так точно! — сказал лейтенант-сапер.

Так точно: наша вода накрылась. А ведь была уже, чистенькая, питьевая. Надо ж было нагрянуть песчаной буре. Стихийное явление, против которого не попрешь. Как и против войны. И потому — шире шаг. Так точно, шире шаг! Постепенно ветер стих. Накаленный воздух; суслики и те попрятались в норы; эти норы и норки как оспины на лице пустыни. Ну и жарынь — шибче, чем вчера. Караванную тропу нашу засыпало песком. Толаем будто целиком, увязаем по щиколотку, и впрямь похожие на бредущий караван. Идем, идем, с каждым шагом, из которых складываются версты, и мысли и чувства приглушаются, словно присыпанные толстым слоем песка. Мы тупеем от зноя, жажды, усталости. Ощущение: постепенно глохнем и слепнем. Какое преодолели расстояние, трудно сказать, сколько времени без привала, тоже не скажу, ибо не смотрю на часы, которые вовсе закапризничали: преимущественно стоят. Они стоят, я иду, и Федя Трушин с презрением говорит о них:

— Барахло!

И к нему с вопросом «Который час?» обращаться уже неловко. Головастиковские часики, конечно, барахло, однако иных нету. А эти бы надо просто-напросто закинуть. Через плечо и подальше. Жаль, они не мои. Вернуть Головастикову также как-то неловко. И об этом думаю отупело, сонно.

Но отупелость и сонливость живо пропадают, когда наш батальон выводят из полковой колонны и командир полка объявляет: мы поступаем во временное распоряжение командира мотострелкового батальона. Я таращился на комполка, и до сознания доходило: наконец-то будет настоящий бой! За этой общей мыслью приходили детали: передовые отряды рванули далеко, не задерживаясь, не ввязываясь в бои с остающимися у них в тылу японцами. Добивать такие подразделения и части — задача идущих во втором эшелоне наступления. Мотострелковая дивизия и наша во втором. Мотострелки окружили монастырь, где засели японцы, и атакуют, но до сих пор безуспешно. Поскольку остальные подразделения мотострелковой дивизии ушли вперед, комкор приказал нашей дивизии выделить батальон на подмогу, и выделили наш, непромокаемый, непотопляемый, геройский.

— Задача ясна? — Командир полка пристально глядит на комбата.

— Так точно, ясна... Разрешите выполнять?

— Выполняйте! И быстрей нагнать полк! Батальон обратно подбросят на машинах... Желаю успехов!

— Спасибо... Батальон, слушай мою команду!

Мы слушали команду: «Правое плечо вперед, шагом марш!» — и только сейчас вроде бы услышали слабенькое эхо стрельбы. Где стреляют? Вон на той сопке, что ли? На ней нечто громадное, белое, словно парящее в знойном воздухе. Мираж? Да это ж монастырь! Туда нам и надо. Да это прикрытие — монастырь, командир полка уточнил, что там разведывательно-диверсионный центр. Ну, этих запросто не выковырнешь, потому и поспешаем на подмогу соседям-мотострелкам. Слышу, как капитан объясняется с Трушиным:

— Почему я должен подчиняться комбату мотострелковому, а не он мне?

— Самолюбие взыграло? Брось...

— Пурхаются там, а мне отдуваться.

Капитан ворчит. И Трушин, это очевидно, ворчит: недоволен комбатом. И чешет ему на «ты».

А вот я тыкнуть комбату уже не могу. Спрошу его на «вы» — мысленно: «Товарищ капитан, разве в этом соль — кто кому подчиняется? Разбить бы противника и минимум потерь — вот наша забота. А на данном, как говорится, этапе поскорей добраться бы до места назначения». Оно сравнительно близко, но команда «Шире шаг!» подталкивает и подталкивает нас. Люди выматываются, хрипло дыша и пошатываясь. У Яши Вострикова кровь носом. Санинструктор смачивает его носовой платок, прикладывает к носу. Постояв с запрокинутой головой, Востриков догоняет роту. Направляющие, шире шаг! Кровь из носа идет и еще кое у кого. Они запрокидывают головы, зажимают носы пальцами или носовыми платками и снова шагают.

Дацан — монастырь — ближе и ближе, и стрельба слышнее. На взлобке, перед монастырем, виден каменный Будда. Разглядывать его особенно некогда, а вот вслушаться надо: из чего стреляют и где стрельба сильней. Различаю пулеметные и автоматные очереди, винтовочные выстрелы, разрывы мин, наиболее интенсивная стрельба на левом от нас фланге, где русло давно пересохшей реки — трава и даже кустарник.

Не доходя до русла, капитан приказал рассредоточиться и залечь, а сам направился к майору, на КП мотострелкового батальона. Мы попадали наземь. Отдыхали. Прислушивались. Проверяли оружие. Я посматривал на солдат, они посматривали на меня, и этот обмен взглядами обещал близость боя. Наступают решающие минуты, когда со своими солдатами пойду в огонь — для многих это будет впервые,— и надо, чтоб они были уверены во мне. Как и я в них. И еще надо, чтобы судьба оказалась к нам не слишком суровой. Чтобы мои люди остались живы. И не покалечены.

Да, и лупоглазый Будда смотрел на нас. Мы смотрели на него. Но обмен взглядами, пожалуй, ничего и никому не обещал. Истукан останется на месте, а мы пойдем дальше, к Хингану. Только сначала нужно разделаться с самураями в монастыре и в окопах вокруг монастыря. Эти окопчики отсюда просматриваются неплохо. Капитан вернется, и пробьет наш час. До этого необходимо что-то сказать солдатам. Тогда прервется тягостное, выматывающее молчание, тогда они приободрятся, воспрянут духом. Таких слов я не находил. Федя Трушин сказал:

— Ребята! Этот дацан окружен. Устроим самураям маленький Сталинград!

И бойцы оживились, кто-то улыбнулся, кто-то произнес: «Сталинград? Здорово!» Оказывается, и японцы нас недурно видели, постреливали из окопов. Прошедшая в сантиметре от виска пуля предупредила: стреляют — могут и убить. Я приказал роте:

— Не высовываться! Беречь головы!

— Точняк,— сказал Логачеев.— Эту продырявят — замену старшина Колбаковский не выдаст.

Через взводных передаю новую команду:

— Фронтовикам в бою опекать молодых, при необходимости немедля приходить на выручку!

Комбат повел нас балкой — мы охватывали дацан с северо-запада. А мотострелковый батальон сместился на юго-восток. Перегруппировка позволила создать большую плотность ружейно-пулемётного огня. Да и минометов прибавилось. Кстати, решено было перед атакой произвести интенсивный огневой налет из всех наличных минометов. По данным разведки, которую проводил мотострелковый батальон, монастырь обороняют двести — двести пятьдесят японцев — из разведывательно-диверсионного центра и в основном остатки разбитых подразделений, стекавшиеся к монастырю; вооружение — пулеметы, винтовки, карабины, гранаты.

Взмыла красная ракета, и ударили минометы, ротные и батальонные. Мины рвались то слабей, то мощней, но с одинаковым лопающимся звуком. По всей японской обороне вокруг дацана и во дворе — тучи пыли и дыма, сносимые на нас. Это неплохо: как будто поставлена дымовая завеса, прикроет в атаке. Минут десять спустя вторая красная ракета, и я кричу:

— Рота, в атаку, за мной!

Мне не обязательно идти в первых рядах, но я подымаюсь с цепью, бегу, призывно размахивая автоматом. Это больше для безусых, необстрелянных: ротный с ними! Бегу и успеваю заметить: рота, не мешкая, бежит за мной, Иванов и Петров догоняют, а сержант Черкасов вырывается вперед. На ходу стреляем из автоматов, ручных пулеметов; с флангов нас поддерживают станковые пулеметы; за монастырем слышна такая же стрельба да еще и треск мотоциклов: мотострелки атакуют в пешем строю и ломятся на своих трещотках. Японцы огрызаются: стегают очереди «гочкисов», беспрерывны выстрелы карабинов.

Слева, как хлыстом, рассекает воздух пулеметная очередь. Цепь залегает. Я — в середине ее — команду:

— Перебежками вперед! По-пластунски вперед!

Кто ползет, обдирая локти и колена о камни, кто вскакивает, пригнувшись, пробегает несколько метров, падает, отползает в сторонку. Вести огонь не прекращаем ни на минуту. Не прекращают и японцы. Я перебегаю, даю очередь, осматриваюсь. Отставших вроде бы нет, рота продвигается. Продвигаются и другие роты.

Пот заливает глаза, руки и ноги дрожат от напряжения, жажда склеивает губы, в висках стучит кровь: впе-ред, впе-ред. Понимаешь: потеть и надрываться на марше совсем не то, что в атаке. Очередь взбивает пыльные фонтанчики перед носом, я вжимаюсь в землю и на какой-то миг теряю представление, где я и что я. На миг мерещится: в разгар лета атакуем смоленскую деревню. Немецкий крупнокалиберный пулемет чешет кинжальным огнем с колокольни. Вторая очередь возле физиономии возвращает к действительности. По-пластунски отползаю с простреливаемого пятачка.

Опять перебегаю, падаю, оглядываюсь. Слава бо-

гу, потерь как будто нет. Добираемся до окрайка кустарничка — рубеж атаки. Приказываю:

— Дозарядить оружие! Вставить запалы!

Меняю магазин в автомате, вставляю запал в гранату. Стерегу ракету комбата. Клочья дыма плывут над кустарником, над травой, над нами, распластанными. Думаю: «Наступает решающий момент». Ветер горячими волнами проходит, взметая песок. Пропарывает дым ракета, зависает световой каплей.

— Рота, в атаку! Ура!

— Мой вопль подхватывают десятки глоток:

— Ура! Ура-а!..

Теперь языки дыма лижут нам лица, забивают легкие, дышать все трудней. Там и сям мелькают фигуры. Стрельба. Взрывы гранат. Мы спрыгиваем в окопы, в траншею. Головастиков орет:

— Хенде хох!

Словно поправляя его, орет Кулагин:

— Руки вверх!

Крикнуть бы по-японски. Японским мы не владеем. Но хорошо владеем автоматом, гранатой, саперной лопаткой, финским ножом. Рукопашная, однако, длится недолго: вижу японцев с поднятыми руками, с белыми полотенцами на палках, на штыках. Наши бойцы дулами автоматов подталкивают их к выходу из траншеи, из окопов наверх, на поляну перед монастырем. Роты перемешались, и какой-то дядя, не из моих ветеранов, поводя автоматом, сплевывает залихватски:

— Мы, восточники, тоже не лыком шитые!

Да, да, восточники воюют не хуже западников. Пытаюсь собрать свою роту и веду ее во двор, внутрь монастыря. Капитан останавливает:

— Не надо. Там уже мотострелки. Принимай у пленных оружие.

— Слушаюсь!

Капитан подкопчен дымом, в потных потеках — как и другие, впрочем. Включая меня. Японцы не такие потные и грязные. Ну, чистенькие, сдавайте оружие! Кое-где крики и стоны. Кое-где одиночные выстрелы. Тошнотно воняет горелым тряпьем. Я показал японцам рукой: стройтесь, мол, в затылок и по одному подходите. И, представьте, поняли! Низкорослые, кривоногие, скуластые, зубы выпирают, торчат, будто их больше, чем тридцать два, немало в очках, молодые в основном, молча бросают карабин или винтовку, кланяются, отходят к нашим бойцам, которые берут их под охрану. Гора оружия растет. Несколько удивляет спокойствие, даже покорность японцев. Их не трогают и трупы товарищей, валяющиеся вокруг, среди минных воронок, на брустверах окопов. Харакири не делают, кишок не выпускают. Ни офицеры, ни тем более солдаты. И смертников в белом не видать. Нам объясняли: смертники — в белых рубашках и штанах. Самурайский обычай?

Стукается приклад о приклад, ствол о ствол, японцы шаркают, косолапят, сутулятся, под фуражечки, под кепи засовывают полотенца, полотенцем обматывают и шеи — от жары. А я вспоминаю сон, когда привиделось: идем на марше в одном исподнем, чистом, белом-белом. У нас обычай надевать чистое белье перед боем или перед смертью. Мама говорила: видеть во сне белый цвет — к болезни.

До плеча дотрагивается Филипп Головастиков:

— Товарищ лейтенант, дозвольте обратиться?

— Ну?

— Дозвольте вручить. Подарок. Трофей. — На раскрытой ладони, мозолистой и широкой, как лопата, часы на ремешке. — Наручные, товарищ лейтенант! Японские!

Я колеблюсь. Головастиков горячо убеждает:

— Вроде ходют справно. Командиру нельзя без часиков. А те, французские, давайте сюда...

— Ну, спасибо.

Беру у него новые, отдаю старые часы. Головастиков размахивается и далеко-далеко зашвыривает их. Усмехается:

— Брехунцы!

Часть солдат принимала оружие у японцев — на пулеметы, винтовки падают пистолеты, гранаты, ножи, мечи,— часть охраняла уже обезоруженных, часть благодушествовала, развалясь под кустами, на травке. Я с ординарцем Драчевым пошел в монастырь — нанести визит вежливости. В монастыре обыск. Мигают, чадят свечки. Пахнет затхлостью, плавящимся воском, застарелым салом, пóтом. Узнаю: обнаружены изрядные запасы оружия, радиостанции, фотоаппараты, топографические карты, склянки с ядами, деньги — японские, китайские, монгольские, советские. В подземелье вещевые склады: в одном — форменная одежда японских офицеров и солдат, во втором — халаты лам. Эти ламы, бритоголовые, гладкие, ухоженные, попадаются на каждом шагу. Их собирают в отдельном домике. Есть подозрение, что л а м ы — офицеры разведывательно-диверсионного центра. А что удивительного: вполне могли работать под монахов. С этим разберутся уполномоченные СМЕРШа, их хлеб. Важно, чтоб ламы не разбежались. Но ребята-особисты кладут на них глаз, а сами уполномоченные при содействии переводчиков уже допрашивают поручика, низко кланяющегося, с хлюпом втягивающего сквозь зубы воздух — как говорят, в знак почтения. Ну, давай, давай, втягивай. А у нас свои заботы, свой маршрут, расписанный по часам, и надо спешить в полк. Пленных отконвоируют без нас, а оружие примет трофейная команда.

— Устроили самураям маленький Сталинград! — говорит Трушин, но на этот раз бойцы не отзываются: напряжение боя ушло, расслабленны, молчаливы; бывает и по-другому: после боя появляется говорливость, возбужденность, на Западе это частенько наблюдалось. Замполиту отзывается лишь комбат:

— С каждой богадельней будем пурхаться, когда ж до Чанчуня и Мукдена доберемся?

— Доберемся, дорогой комбат! Не унывай! Втемяшилось?

Услышав свое любимое слово из посторонних уст, капитан замирает, а потом улыбается одними гла-

зами, похрустывает суставами пальцев. Молоденькие бойцы избегают смотреть на комбата: лицо стянуто рубцами от ожогов; ресниц и бровей нет; я же по-привык, не отворачиваюсь. Капитан приказывает провести перекличку личного состава и о потерях доложить ему. Рота выстраивается. Перекличка. Взводные докладывают мне. Но я и до их докладов знаю: потерь в роте нет, раненый один — ефрейтор Свиридов, ранение легкое. Какой-никакой бой, а потерь нет! Отлично! Замечательно! Прекрасно! Подхожу к Егору Свиридову:

— В левую руку ранен?

— В левую, товарищ лейтенант! Да пустяк... Кончик пальца отшибло...

— Пустяк? Перевязку аккуратно сделали?

— Санинструктор индпакетом перебинтовал.

— Следи, чтоб повязка не слетела. Не загрязнить бы рану... А там в санчасть отправим...

— Ни в коем разе, товарищ лейтенант! Ни в какую санчасть не пойду! Оттуль переправят в госпиталь... Подумаешь, рана... Заживет... Меня одно заботит: как на аккордеоне играть буду?

— Нынче не до игрушек, заживет — будешь наяривать! — говорю я, всматриваясь в побледневшее лицо Свиридова.

Иду вдоль строя, вглядываясь в солдат, прежде всего в молодых, необстрелянных. Шалишь, теперь обстреляны. И — живы! Мои солдаты целы! Мне известно: в батальоне есть убитые и тяжелораненые. Но горечь глушится радостью: мои, мои живы. Щадящая пока война. По крайней мере, первую роту пока щадит. Ну, а воевали мои солдатики недурно. Нормально воевали. Не струсили и юнцы. Может быть, и потому, что рядышком были ветераны, которых вряд ли чем испугаешь...

Комбаты по рациям докладывают своим начальникам о взятии монастыря. Подвозят обед мотострелкам. Его по-братски делят на оба батальона: хоть немного, да попили чайку и перекусили. Теперь и поваляться в самый раз, поджидаючи «студебеккеры».

Первыми увозят раненых. Их бережно подсаживают или вносят на носилках в санитарные «летучки». Ребята поранены, но жить будут. Хотя некоторые станут инвалидами. Да-а, не очень весела ты, жизнь инвалидная. Если добавить, что безрукому либо безногому стукнуло всего-то восемнадцать.

Потом машины приходят за мотострелками. Они сноровисто рассаживаются по кузовам, трещат мотоциклы. Комбаты обнимаются — прямо-таки сдружились, хлопают друг друга по спинам. Майор залезает в кабину, машет фуражкой. Мотострелки увозят с собой и своих убитых. А мы увозим своих. К нам в кузов кладут два завернутых в плащ-палатки тела. Они у моих ног, и, когда машину встряхивает на вымоинах, я поддерживаю тела, чтобы не скатывались. «Чтоб им было покойно»,— думаю я, а под пальцами человеческая плоть, совсем недавно бывшая живою. Взводные, Иванов и Петров, едут в кабинах, я уступил свое место возле шофера Егору Свиридову. Уступил? Заставил: Егорша артачился, взмахивал забинтованной кистью. Героя изображал. Я прицыкнул, и он полез на подножку.

Наверное, так оно должно — чтоб я ехал вместе с погибшими. Кто они, знакомы ли мне? Скорей всего незнакомы: свою бы роту толком запомнить. Лица же лежащих у ног я не запомню и теперь: не решаюсь отвернуть край плащ-палатки. Нет, война щадит не всех. Война уже показывает себя. И еще покажет.

В батальоне погибло девять человек. Для их похорон устроили большой привал. Чтоб заодно и пообедать. Значит, сегодня дважды пообедаем, вернее, полтора обеда съедим. И попьем лишку. Снова трагическое и бытовое как бы перебегали друг другу дорогу. Повар черпаком размешивал варево в чреве походной кухни — один черпак на два котелка, точно как в аптеке или как у старшины Колбаковского, а похоронщики рыли на отшибе поместительную яму. Девять человек зароют: восемь солдат и санинструктора-женщину, ее подстрелил снайпер. Женщина упокоится в единой с мужчинами могиле — и здесь равноправие. Вообще-то санинструкторшу надо бы похоронить отдельно. Некогда, что ль, копать отдельную могилу? Не было времени и на траурный митинг, который хотел провести замполит полка. Ограничились тем, что он перед строем произнес несколько слов: прощаемся с героями, слава им, павшим за честь Родины, за освобождение Китая, и вечная память! Прозвучал жиденький, вразброд, залп, и мимо могилы прошел полк — колонна за колонной. Мы удалялись от братской могилы, и я думал: «Каково им будет спать в китайской земле? Каково спится тем, кто зарыт в немецкую землю и в иные не наши земли?»

Будто мы торопились уйти от братской могилы. Солнце било то в лицо, то сбоку, мы петлили, спускаясь и поднимаясь, огибая сопки. Они круче, каменистей. Больше травы с жесткими режущими стеблями, больше кустарника. Потом пошли хилые, изломанные ветрами деревца. Я пригляделся: листики, ка ку березы. Но кора черная. Спросил у Колбаковского:

— Что за дерево, Кондрат Петрович?

— Та черная береза, товарищ лейтенант!

Да, точно: береза, но черная. Привыкший к белоствольным березам, я поражен. Прежде мне такое не встречалось. И почему-то эта черная береза вызывает то ли тревогу, то ли тоску. Черная береза не к добру. Нервишки разболтались, я напичкан предчувствиями, мнительностью? Может быть. Вновь подумал об оставшейся за нашими спинами братской могиле. Пролита и еще будет проливаться кровь во имя освобождения этих краев.

В тот день полк находился на марше дотемна. Под подошвами начало пружинить — заболоченные потянулись распадки,— трава выше и гуще, кустарник, кустарник, березы, березы — скрюченные, при-

гнутые к земле, черные. Но черные, они сливались с темнотой, пропадали, словно их и не было в природе.

17

Солдатские разговоры — о чем угодно, когда угодно, где угодно! На сей раз такой разговор посеял повсеместно татуированный Логачеев. Посасывая самокрутку и сплевывая, он завел грубым, толстым голосом:

— Товарищи граждане, сон приснился. Как будто скопытило меня возле города Ржева. Будто под кусточком, в крови дохожу...

— Мне ранения тож частенько снятся,— говорит Толя Кулагин.

— В том-то и штука! Я и в натуре был раненный подо Ржевом, доходил, истекал кровью в тальнике. А было так: шли в атаку, снаряд ка-ак врубит — привет и наилучшие пожелания! Очнулся, лежу, вверху звезды, тихо. И не пойму, на том ли я свете или еще на этом подзадержался. Если убитый, значит, я на том свете, если покудова живой, значит, на этом. Рукой-ногой пошевелить не могу, но шарики работают. Думаю: пришибло насмерть, тогда где ж я, в рáю или в аду? Насчет рàю — сомневаюсь, потому не святой. Однако один есть плюс: солдат как солдат, за чужие спины не ушмыгивал. Ну, ангелов не видать, райской музыки не слыхать... В аду? Но и чертей не видать, никто не волокет меня поджаривать на горячей сковородке... И вдруг слышу: «Видал, разлегся воин... Да не мертвый он, а живой... А коли живой — ползи к своим, так нет, все на санитаров перекладывают... Ладно, Тарасюк, бери его за ноги, я — за руки...» Ясно, где я: на земле, не убитый! Еще поживу!

— Поживешь, Логач, а чего же? — Это опять тонкий, ребячий голосок Кулагина.

Да, фронтовикам нередко снятся их ранения и родные хаты. Мне на ночевке приснился в который раз наш ростовский дворик с разгуливающей по траве маминой любимицей Туськой — пестрой кошкой с длинным и утончающимся, как у крысы, хвостом, усатой, знаменитой на весь коммунальный дом мышеловкой. Надо же, Туська приснилась. Даже упоминать о таком сне неудобно. И в какой момент и где приснилась — на войне с Японией, в августе сорок пятого!

Кстати, старшина Колбаковский, уважаемый Кондрат Петрович, высказался в том смысле, что это не самостоятельная война, а последнее сражение великой войны, которая началась для нашего народа событиями на Хасане в тридцать восьмом году и продолжилась боями на Халхин-Голе в тридцать девятом и в Финляндии — в сороковом. У старшины роты своя теория, свой взгляд на военную историю. Ну, а парторг Микола Симоненко провел беседу о событиях на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Выкроил время. На большом привале. Закончив рассказ, спросил солидно:

— Какие будут вопросы, товарищи?

— У меня вопросик. — Руку тянул Погосян.

— Пожалуйста.

— Что, без нас союзникам не одолеть Японию? А? — У Погосяна сильный акцент, и потому его вопросы звучат очень веско.

— Не по существу, однако отвечаю... Видишь ли, товарищ Погосян, я лично считаю: без нас никак не справятся.

— Еще интересуюсь... Америка да Англия с нами союзничают поневоле, по расчету. Они ж хотели столкнуть нас с Гитлером, а он сперва кинулся на них, потом уж на нас. Так вот, интересуюсь: после войны Америка да Англия не будут на нас кого натравлять?

— Волноваться не стоит, товарищ Погосян... Лично я считаю: чему-то должны научиться.

— И я так считаю... А как считают в Америке, мы не знаем...

Симоненко наморщил лоб, собираясь ответить Погосяну, но раздалась команда к построению, и все поднялись с земли. Беседа парторга как будто сразу отошла в прошлое, но я успел подумать: «Уроки истории для империализма? Может быть. Однако обреченность застит ему перспективу...»

За ночь, точнее за четыре часа, маленько передохнули, и теперь все суетятся, весело покрикивают. Во сне прихватывало холодком, да и по предрассветью воздух свежий, неиссушенный. Но выплескивается на небо заря, выкатывается из-за горного гребня солнце, и вот-вот будет обычное: жара, пекло, ад, куда пока не попал рядовой Логачеев.

Зашагали натощак — завтрак будет на марше,— под ногами сильней и сильней чавкали болотистые луга, дурно пахнувшие испарениями (жижи вдосталь, а воды все-таки нет), перед глазами дыбились скалистые оголенные отроги, исполосованные трещинами. Казалось, до гор рукой подать, но шагаем и шагаем, а они словно не близятся.

Сон еще не сброшен окончательно, однако идем ходко — радость наступления! По Внешней Монголии тоже был марш, и ка кон трудно давался. А тут будто не тот же зной, не то же безводье, не те же бесконечные, оплетающие ноги версты. Вперед — к победе, вперед — к миру! Я стараюсь ступать легко и чувствую, как автомат пересчитывает мне ребра. Вперед — это правильно, но перед победой и миром были и будут бои. Ныне совершенно очевидно: японцы заранее увели из приграничья главные силы, потому здесь такое соотносительно слабое сопротивление. Командир полка говорил: главные группировки за Хинганом, там, на Маньчжурской равнине, предстоит генеральное сражение, однако не исключено, что японцы попытаются раньше нас выйти к Хингану с другой стороны, захватить перевалы, закупорить горные проходы. А вывод прежний: быстрей вперед, вперед, на войне упреждение противника много значит.

Здесь, в предгорье, войска пылят поменьше: почва не та да и вроде бы рассосались по степи, верней

же — растянулись, кто ушел далеко на юг, кто вроде нашей дивизии болтается посередке, кто отстал, ну это тылы, они вечно отстают в наступлении. Где-то вдали погромыхивает канонада, изредка пролетают наши самолеты, японских не видно. Над горными вершинами сгущаются облака, из белых превращаясь в пепельно-серые, а кое-где и в грязно-черные, эти рваные тучи временами закрывают солнце. Натянет грозу, польет дождь? Давненько мы не чуяли, что это за явление природы.

Нас нагнали полевые кухни, но завтрак все-таки подзадержался. По уважительной причине. Только-только собрались устраивать привал, как на сопке справа затарахтел пулемет, в голове полковой колонны замешкались, остановился и наш батальон.

— В укрытия! В укрытия!

Какие тут укрытия — ссыпались по ту сторону караванной тропы за камни и чахлые кустики. И за высокую траву. Будто трава и кустики могут задержать пулеметную очередь. Пулемет — я определил: станковый, «гочкис»,— бил короткими очередями, но куда — враз не понять. Ясно одно: нужно подавить. И тут-то я в который раз пожалел о близости — по расстоянию — к полковому начальству: командир полка приказал командиру ближнего батальона, то есть первого, а тот приказал командиру ближней роты, то есть первой, уничтожить огневую точку! Всегда мне что-нибудь достается. Хотя все равно кому-нибудь надо уничтожать вражеский пулемет. Я повел роту, маскируясь кустарником, в обход сопки, вдогонку донеслось комбатово: «Глушков, не пурхайся! Втемяшилось?» Втемяшилось, и пурхаться мне ни к чему, нужно не терять времени, но и терять своих солдат я не намерен. Поэтому поспешать буду осторожно. Кстати, я не совсем понял, почему посылают стрелковую роту, почему не обработать высотку из пушек, из минометов? Или так быстрей и надежней? Может быть.

Так либо иначе, рота где короткими перебежками, где по-пластунски охватила сопку. Пулеметчики нас заметили: пули засвистели в траве, свист их был, как свист косы. Мы вели огонь из ручных пулеметов, винтовок, автоматов, и «гочкис» посылал очереди то в один конец нашей цепи, то в другой. Я подумал: «Кидается как бешеный, из стороны в сторону». Оборачиваюсь: два минометных расчета тащат свои игрушки во главе с самим командиром минометной роты. Запыхавшись, докладывает, что прибыл по приказанию комбата, раньше не смогли: отстали на марше. Я отвечаю, что лучше поздно, чем никогда, что давай, мол, обрабатывай сопку из своих самоваров, а потом стрелки атакуют ее.

Мины ударили по высотке, ее заволокло дымом, мы забросали ее гранатами и поднялись в атаку. Пулемет тявкнул, захлебнулся. Взбираться по крутоватому склону было нелегко. Наконец добрались до площадки, обложенной плоскими камнями. Представлять-то «гочкис» я представлял, но реальность оказалась более впечатляющей: пулемет был покорежен, а два пулеметчика к нему цепями прикованы! Смертники! Японцы мертвы, в посеченных осколками куртках; овальной формы каски валяются рядом; рядом же и горка ручных гранат, похожих на наши лимонки: не успели воспользоваться.

А на Западе тоже приковывали к пулемету цепями за руку либо за ногу немцев-«штрафников», власовцев, сам видел. Думаю об этом и напряженно жду сообщений, есть ли потери в роте. Потеря была одна, зато какая — лейтенант Петров ранен в грудь, навылет. Жаль хлопца, и повоевать как следует не удалось. Я подошел к нему. Он лежал на брезентовых носилках, санитары готовились спустить его вниз, куда подъедет санитарная «летучка». Теперь опять ищи замену. Из резерва вряд ли пришлют, придется ставить белобрысых, большелобых, смешливых сержантов, снова переводить из помкомвзводов во взводные, заодно и свой, первый взвод отдам, так будет лучше, хватит с меня ротных забот. Понимаю отчетливо: коль выбивает взводных лейтенантов, а на смену им непотопляемые сержанты, значит, война всерьез.

Я наклонился над Петровым — грудь перебинтована, лицо бескровное. Он открыл глаза, прошептал:

— Не повезло...

— Крепись! Придет санитарный автобус, эвакуируем в госпиталь.

— Прощайте, товарищ лейтенант...

— Прощай, друг! Поправляйся...

— Поправляйся! — сказал и Иванов, еле удерживая слезы.

Вот еще один человек мелькнул на моем воинском пути и исчез, я даже толком не узнал его. В общем, парень неплохой. А сколько их мелькнуло и кануло в водовороте войны, и фамилию-то не всегда запомнишь... Бывает, всплывет в памяти лицо, но как зовут — хоть убей...

Я доложил комбату о ликвидации пулеметного гнезда, о ранении Петрова, комбат побежал докладывать командиру полка. А вокруг гремели котелки, стучали ложки: покамест мы перли на сопку, началась раздача завтрака. Подключилась к этому занятию и первая стрелковая рота, ибо жизнь продолжалась. Нехотя совал я ложку в котелок, кое-как проглатывал полуостывшую пшенку, запивал вовсе уж остывшим чайком и не подозревал, какая новость поджидает меня, как и весь первый батальон, после припозднившегося завтрака: распоряжение остаться на месте. Как на месте, почему? Полк уходит, а мы? Я пожалел, что возле меня нет замполита Трушина: он бывал неизменно в курсе событий, но он находился около комбата и был недоступен.

— Что бы это значило? — задумчиво спросил меня Иванов.

— Сам, лейтенант, теряюсь в догадках! Поживем — увидим!

Философская эта фраза «поживем — увидим», весьма популярная в армейской среде, выручала во многих случаях: стоило лишь набраться терпения, и что-то в конце концов прояснялось. Выручила она и

на сей раз! Комбат собрал офицеров и, светясь ликом, объявил:

— Наш батальон войдет в состав передового отряда! Будем действовать в отрыве от дивизии, оперативное подчинение — командарму!

Вот это да! Только что не кричали «ура». Засветились ликами похлестче капитана. Разумели одно: кончается пехотное существование, марши на своих двоих, болтание посередке, выводимся в первый эшелон, оседлаем технику — и вперед. Не разумели многого: с чего так подфартило, образуется ли новый подвижной отряд, либо пополним какой-нибудь потрепанный в боях, куда и когда направимся? С ротной колокольни что увидишь? Но и с батальонной, сдается, видно не все. Трушин тоже ничего не знает, пожимает плечами.

Я смотрю на щербатый рот Феди Трушина, на безбровое, стянутое ожоговыми рубцами лицо комбата и думаю: «Капитан горел в танковом десанте. И радуется, что опять попадает на танк? Или нас на «студебеккерах» разместят?» И мысль: хочу испытать судьбу, что она сулит, судьба, в сражениях не сегодня завтра, отыщет пуля либо помилует, поглядим-увидим, как фортуна со мной обойдется. Фаталист нашелся! Ты не столько о своей голове пекись, сколько о других, отец-командир.

Ударил гром, который не враз отличили от артиллерийского грохота. Но над вершиной, в черной туче, прочертились зигзаги молнии, опять гром и опять молния. Сверкали молнии, и гремел гром, дождя не было. И это показалось странным. А может, и не странно, может, это били колокола судьбы, вещая о ее крутом повороте? Но, как ни были красивы эти придуманные колокола, я заставил себя подумать об ином: если начнется сезон дождей, каково нам будет форсировать Большой Хинган? До него, как ни крути, два-три хороших перехода. Тем паче на колесах.

Белобрысых, усатых, большелобых, бессмертных поставил на взводы, а сержанта Славу Черкасова, сдержанного, неразговорчивого, назначил помощником командира взвода. Обрадовался он, шибко проявил эмоции? Ничуть не бывало. Буднично сказал:

— Доверие оправдаю, товарищ лейтенант.

А я-то думал, он честолюбив, переживает, что в свое время не сделали помкомвзвода. Вот известие о подвижном отряде он воспринял с оживлением, мимолетно улыбнулся и сказал сам себе:

— Повоюем!

Повоюй, Слава! И останься жив. Чтоб на Красноярском вокзале тебя встретили мать и невеста.

Стрелковый батальон разместили частично в «студебеккерах», частично посадили на броню — это, к моему удивлению, были не прославленные Т-34, к которым мы привыкли на Западе, а БТ, известные своей быстроходностью. Танковую бригаду усиливали противотанковые пушки, самоходные артиллерийские установки, зенитные пулеметы, рота саперов. Командовал подвижным отрядом комбриг, коренастый, зеленоглазый, зычноголосый, на нем был комбинезон, скрывавший знаки различия, танкисты звали его Батя и «наш полковник».

Не сходя с «виллиса», комбриг оглядел нашего вытянувшегося по стойке «смирно» комбата с головы до ног, словно прикидывая, чего тот стоит, и сказал:

— Капитан, мозгуй! Действуем в направлении перевала Джадын-Даба, туда уже ушли танкисты из Шестой армии Кравченко. Надо настичь их и не отставать, если удастся — обогнать! Ввяжемся в бои — на твою пехоту рассчитываю. Мозгуешь?

На сборы, погрузку, заправку горючим комбриг отвел полчаса. Обнажив на запястье часы, предупредил:

— Ни минутой позже!

По тому, как забегали танкисты, стало понятно: слово Бати подхватывается на лету. Учтем. Пускай учтут и артиллеристы, самоходчики, зенитчики, саперы — им же будет лучше. Моей роте выпало ехать на танках — неужели это так, до сих пор не верится. Лейтенант Глушков на танке въедет на Хинган, съедет вниз и покатит по Центральной Маньчжурской равнине аж до Порт-Артура! Если, конечно, японцы не помешают...

С группой солдат я подошел к танку, на котором предстояло ехать. Танк посмотрел на меня черным зраком орудийного ствола, как бы приглашая познакомиться. Я похлопал по нагретой шершавой броне — вроде рукопожатием обменялись. Танк как танк: покрашен в защитный цвет, краска кое-где облупилась, гусеницы блестят, отполированные, от всего корпуса несет жарой и горючим; из башенного люка высунулась голова в танкистском, ребрышками, шлеме, из-под шлема на лбу — белокурые кудряшки, прямо-таки девичьи.

Танкист сказал мне:

— Командир танкового взвода лейтенант Макухин. Можно и проще — Витя...

— Командир стрелковой роты лейтенант Глушков. Если проще — Петр...

— Петр? Строгий ты, видать, человек...

Мой верный ординарец Миша Драчев некстати ввернул:

— Витя? А я вот знаю: есть такое сочинение «Витя в тигровой шкуре»!

Книгочей Нестеров первый засмеялся:

— Да не Витя, а «Витязь в тигровой шкуре»!

— Ну да,— слегка стушевался Миша. — Сочинение какого-то грузинца!

— Шота Руставели? — спросил Востриков, еле сдерживаясь от хохота.

— Кажись, он,— промямлил Миша.

— Вот так сморозил,— сказал я. — Сам ты Витя в тигровой шкуре.

Хохот покрыл мои слова, и громче всех смеялся лейтенант Макухин, вероятно, мой однолеток. Так, со смехом, мы познакомились с экипажем, перекурили

это дело, лейтенант Макухин нас просветил: прежнего комбрига-забайкальца перед походом заменили на западника, фамилия громкая Карзанов, сражался за Сталинград, на Орловско-Курской дуге, на Украине, в Румынии, Венгрии, Чехословакии, орденов полна грудь, а бригада — восточники, будет фронтового опыта набираться. Просветительство пресекла команда:

— По ко́ням!

В армии шутливо, но неизменно подавалась такая команда вместо, скажем, «По танкам!» или «По машинам!». Две другие роты полезли в автомашины, а я со своими орлами — на танки. Экипажи угнездились внутри танков, пехота наверху — вроде бы оседлала их. Так что гаркнувший «По коням!» полковник не столь уж далек был от истины.

Взревел двигатель, выстрелили выхлопные газы, танк качнулся и пошел вперед. Это покачивание усиливалось и превратилось в нечто похожее на морскую качку: выбоин и ям на пути хватало. Я сидел справа от башни, прижимаясь к броне. Будь начеку: тряхнет на яме — запросто сковырнешься наземь, а сзади рычат другие БТ. Попасть под гусеницы — мало приятного. Броня разогретая, и сидеть жарко. И неудобно — враскорячку. Солдатам я приказал расположиться на бревнах по обе стороны от башни — бревна, на случай, если танк засядет, а сам стоически корячился. Долго ли так продержишься? Солдаты сердобольно потеснились, и я сел, стиснутый плечами.

Снизу от машины исходил жар, сверху обдувал встречный ветер и, увы, встречная пыль. Довольно скоро наши лица посерели от пыли, на зубах скрипело, в глотке перщило, одежку хоть выколачивай! А члены экипажа, наверное, почище, перед маршем я даже дивился: выбритые, наодеколоненные чистюли, непохожие на обычно чумазых танкистов. Когда я брился? Два-три дня назад. Не до бритья. Но танкисты же нашли время. Сквозь рев двигателя, скрежет гусениц, посвист ветра слышится голосок неугомонного Миши Драчева:

— Мирово зануздали лошадиные силы!

Он вжимается в мой бок своими костяшками. Погоди, ведь это он и потеснил солдат, освобождая для меня местечко. Благодарю, верный ординарец! Витя в тигровой шкуре...

18

А сколько ныне проедем на броне? Будем спрыгивать, воевать, но потом снова на броню. Почему был спешно сформирован наш подвижной отряд? Из реплик полковника Карзанова, из разговоров штабистов между собой и с комбатом напрашивался вероятный вывод: поскольку подвижные отряды оправдывают себя с первого дня войны, командование увеличило их число уже в ходе операции. Очень может быть. Потому что скорость продвижения — залог боевого успеха, это-то и с ротной колокольни очевидно. Да и замполит Трушин так считает. Разлюбезный друг Федя катит в голове колонны, на «виллисе», не его ли пылюку я глотаю? Впереди, естественно, разведка, потом «виллис» комбрига, потом «виллисы» с замами комбрига, командирами стрелков, артиллеристов, самоходчиков, зенитчиков, саперов, потом штабной автобус с рацией, потом танки. Пылюка стоит добрая: чем выше в гору, тем меньше заболоченных лугов, почва сухая, каменистая. Поднимаемся незаметно, и, вообще, незаметно, как глотаем вместе с пылью километры. Разве что руки и спина болят — устали от напряжения. Да и при толчке стукнет о железяку. Хочется ругнуться. Однако я молчу, подаю пример: подумаешь, стукнуло. Даже стараюсь не кряхтеть.

Где родная дивизия, родной полк? Обгоним их либо по другому маршруту идем? Скорей последнее. Жаль, что не нагоним, теперь свидимся когда? Когда увижу комдива — нашего Батю, генерал-майора с Золотой Звездой Героя на кителе? Не часто лейтенанту доводилось видеть своего генерала, но все-таки такое случалось. Одно слово — Батя! Особенно это чувствую я, безотцовщина. И здесь — свой Батя, но к нему надо еще привыкнуть. Да к тому же не генерал, лишь полковник, иное качественное состояние. Ничего, привяжемся и к полковнику, танкисты ведь привязались.

Временами из приоткрытой башни высовывался лейтенант Макухин, посматривал назад и вперед, улыбался, кричал:

— Петя, живой?

— Живой, Витя! — отвечал я, безжалостно встряхиваемый на рытвинах.

Уточняя маршрут, колонну несколько раз останавливали, и в подобные — бесподобные! — минуты мы торопливо спрыгивали, разминались. Вот вам разница между сермяжной пехотой (она же царица полей) и теми аристократами, что на колесах. В пехотной жизни ждешь не дождешься привала, чтобы упасть наземь и не шевелиться. В аристократической наоборот: на привале хочешь двигаться, хочешь размяться. Это так, к слову...

Проехали километров сорок — пятьдесят. Уже не шли по следам танков 6-й армии, где-то свернули на собственный маршрут. Не исключено, между нами и противником нет наших частей. Хотя, разумеется, утверждать это трудно: по всем направлениям рвутся к Большому Хингану подвижные, или, как еще их называют, передовые, отряды.

— Товарищ лейтенант! — сказал Миша Драчев. — Оно, конешное дело, кататься на таночках — не сравнить с пешедралом. Одначе шишек и синяков наставишь — будь здрав!

— А меня укачивает,— сказал Шараф Рахматуллаев.

Я пригляделся: точно, узбек даже побледнел как-то.

— Держись, ребята! Это еще не самое страшное на войне,— сказал я и засомневался: хотел подбодрить, а вышло что-то не то.

— По ко́ням!

Залезали торопливо, как и слезали. Цепляясь кто за что — и друг за дружку. Лейтенант Макухин высовывался из башни, кричал, веселясь:

— Больше жизни, пехота! А то без вас умотаем!

Рокот двигателей. Лязг гусениц. Дрожащее марево. Клубы пыли. Пыль пропитала и людей, и машины. Высовывающийся из башни Макухин тоже стал серым, как и десантники. Броня нагревалась круче и круче, и Толя Кулагин прокричал Логачееву:

— Теперича, Логач, точняком ты в аду! И мы с тобой заодно жаримся на раскаленной сковородке!

— А? Что? — От шума двигателей закладывает уши, Логачеев заталкивает палец в ухо, прочищает.

— Говорю: как в аду, на раскаленной сковороде!

— Вскорости яичницу изжарим, Толяка!

Шутки шутками, а подпекает так, что вертишься. Вертеться же не навертишься, ибо можно загреметь с танка. Солнце нагревает и наши головы: гром погремел, тучи откочевали. В висках стучит. Испить бы водицы, но колодцев нет как нет, фляжки пустые. Терпи, казак, атаманом будешь, как говаривали на Дону.

Прикрыть глаза рискованно: устойчивость сразу хуже. Но я все же опускаю веки и представляю, как с нашей стороны и с японской к перевалам Большого Хингана устремляются массы войск. Японцам, как и нам, нужно преодолеть четыреста — пятьсот километров. Кто быстрей подойдет к перевалу? Давай, механик-водитель, жми шибче, по-казачьи — швыдче!

Лейтенант Макухин, ссылаясь на комбрига и штабных, намекнул: на Западе танки использовались по-иному. Я напрямик спросил, что конкретно он имеет в виду. Макухин ответил: не пехота, не артиллерия, а именно танки сейчас устремились вперед, обходя укрепленные районы. Расчет на внезапность: японцы, очевидно, не верят, что танки могут преодолеть Большой Хинган. Возможно, и так. Хотя со взводной макушки видно не лучше, чем с ротной. Правда, взвод этот — танковый. А нынче танкам первое слово. Основная сложность, по словам лейтенанта Макухина, явно заимствованным у начальства, в том, что коммуникации предельно растягиваются, танки отрываются от пехоты, от баз снабжения, в первую очередь — горючим, а без горючего танк что? Ничего. Но по словам того же Макухина, покамест автозаправщики справляются, не отстают, да и транспортная авиация подбрасывает бочки. Покамест... А спешить надо!

Полковник Карзанов правильно понял мысль лейтенанта Глушкова, потому что колонна прибавила прыти. Сам комбриг пересел на бронетранспортер, и разведчики на бронетранспортерах, пылят где-то далеко.

Пересев на танк, я в чем-то изменил свое пехотное мышление. А как же! Рассуждаю с точки зрения передового, подвижного отряда. Такой получается расклад: на нашем пути — горный хребет, его характеристика — тысяча четыреста километров в длину, триста в ширину, высота до двух километров. Впечатляет? Далее: это дикие, хаотичные кручи, удобные проходы через Хинган перекрыты укрепрайонами, туда соваться не резон. их надобно обходить, а всего вдоль своей границы японцы соорудили семнадцать мощнейших укрепленных районов. Неприкрытыми остались перевалы, которые принято считать недоступными для танков. Какие там танки на охотничьих да пастушьих баргутских тропах среди скалистых нагромождений! Но пробиться через Большой Хинган надо во что бы то ни стало! Пробьемся — как снег на голову японцам!

Опять пошли вязкие луга, а кое-где, на спусках, и трясина, покрытая ряской. Танки ее проскакивали, но автомашины, походные кухни, орудия иной раз и застревали, стреляя из-под колес вонючими бурыми ошметками. Выручали танки: надежный трос — и неудачник вытащен на сушу. Суша — понятие относительное: чем выше, тем больше рыхлого перегноя, под которым каменистая подпочва, не мудрено и забуксовать. По склонам — кустарник и чахлая черная береза, ею меня уже не удивишь, попадаются и вполне приличные дубки и лиственницы. Несмотря на то что мы в движении, комары исхитряются налетать и кусаться. На болотцах их видимо-невидимо, остановимся на ночлег — дадут прикурить.

Дали! Едва мы спрыгнули с брони, на нас остервенело накинулась орава мошки и комаров. Кровососущие! Мы шлепали себя по лицу, по шее, по рукам, обмахивались ветками, курили, развели костерки. Черта с два! Разве этих кровопийц чем-нибудь испугаешь?

Однако это был не ночлег и даже не большой привал, а так, маленькая остановка, минут на пятнадцать, достаточных, впрочем, для того, чтобы развести костерики и справить нужду. Остановились потому, что разведка донесла: на пути поселок, превращенный в опорный пункт, обороняет его батальон японо-маньчжур, усиленный артиллерией. Ясненько: опорный пункт прикрывает подступы к хребту. Что предпримет комбриг? С ходу атаковать нельзя, можно танки загубить, но и одну пехоту пускать не резон, сперва нужно выявить передний край, огневые точки противника, значит — разведка боем?

Ее провели разведчики на бронетранспортере, два танка и, естественно, неизменная первая стрелковая рота.

Комбат сказал:

— Глушков, твои бойцы пойдут за танками. Прижимайтесь ближе к броне, меньше будет потерь от ружейно-пулеметного огня.

— Так точно, товарищ, капитан — сказал я, подумавши: а потери от артиллерийского огня, если снарядом, не дай бог, вмажет в танк?

— Охраняйте танки от смертников с минами. Снимайте и расчеты противотанковых пушек, коль выкатятся на прямую наводку.

— Есть, товарищ капитан!

— Ну, давай, Глушков, я на тебя надеюсь.

Тут уж я ничего не ответил, лишь благодарно по-

хлопал глазами. Комбат дружески ударил меня в плечо, будто подтолкнул, толчок был неожиданно сильный, и я пошатнулся. Капитан улыбнулся своей неподвижной, мертвой улыбкой — одними глазами: дескать, держись тверже, Петя Глушков,— и я оценил это.

Довел задачу до взводных, до сержантов и солдат. Все молчали.

— Ребята, — сказал я, — действовать смело, решительно, однако не зарываться! Помните: это разведка боем!

Поселок — деревянные и кирпичные домишки — лепился по склонам сопки, словно привалившейся к отвесному, скалистому скосу еще более высокой горы. Следовательно, зайти с тыла отпадает, будем охватывать, но постреляем и по тылу, наверняка круговая оборона, все включено в огневую систему.

Разведчики соскочили с бронетранспортера, рассыпались цепью по сильно пересеченному склону. В центре была кое-как наезженная дорога, по ней двинулись танки, и мы за ними, глотая отработанные газы. Затем один танк вильнул влево, в обход поселка, второй — вправо. Моя рота разделилась, я пошагал за правым танком, за макухинским. Посмотрел на соседнюю сопку: там НП Бати, там его свита, включая нашего комбата. Прильнули к биноклям и стереотрубам, следят за нами. Не беспокойтесь, не подведем! Посмотрел и в низину, где прикрытый завесой тумана разворачивался передовой отряд — танки, пушки, бронетранспортеры, автомашины с пехотинцами, с саперами. И от мысли: за спиной сила! — стало не так тревожно. Сейчас эта сила молчаливо нас поддерживала, но придет срок — заговорит.

Голос вблизи:

— Подзасиделись на танке? Счас разомнемся, будь спок!

Кто? Логачеев, Свиридов? Или Кулагин? Разговорчивые! Да уж разомнемся, будь спокоен! Оступаясь в вымоинах, спотыкаясь о пеньки, корневища и камни, ломясь сквозь кустарник, мы приблизились к поселку метров на двести. Вражеская оборона молчала. Затаилась? Заставим раскрыться!

Дальше мы не пошли и враз открыли огонь: танковые орудия, минометы, пулеметы, винтовки, стреляли и из автоматов — больше для шума, понимая, что убойность автоматного огня двухсот метров не достигает. Я лежал за валуном, наблюдая за обороной: откуда бьет пулемет, откуда пушка, где дзот, где снайпер. Над нами посвистывали пули, фукали осколки, и это было неуютно: никакого подобия окопов, солдаты вжимаются в ложбинку, льнут к обомшелым каменным россыпям. Но чем активнее стреляют японо-маньчжуры, тем для нас лучше: раскроют систему огня. Хотя могут и схитрить: какие-то огневые точки молчат. До поры до времени. До атаки.

Разведка боем обошлась нам, к сожалению, недешево. Действовавший на левом фланге экипаж БТ увлекся, вырвался и получил противотанковый снаряд, сорвало гусеницу; танк сперва крутился на месте, затем замер; наше счастье, что мигом подошел тягач и уволок его в низину, иначе вражеские артиллеристы могли бы добить. Было убито три разведчика, и — я не поверил себе — тяжело ранен командир взвода лейтенант Иванов. Господи, какое-то заклятие: взводных лейтенантов уже выбило, придется сержанта Черкасова ставить на взвод. Делает карьеру: из отделенных — в помкомвзвода, оттуда — во взводные. Горькая это карьера...

Иванов был без сознания — пуля снайпера вошла в живот, и я подумал: не жилец. Если бы ранило натощак, было бы больше шансов выжить. Правда, завтракали давно и еще не обедали. Но если б совсем натощак!

Может быть, это было странно, но я пожал безответную, неживую руку Иванова. Вот и с ним расстаюсь, не узнавши толком. Не жилец? Живи, лейтенант Иванов, я очень прошу тебя об этом!

Его привычно уложили на носилки, санитары привычно примерились, взялись за ручки, подняли, привычно понесли, стараясь идти в ногу, чтобы не трясти раненого. Слишком привычно.

Как доложила разведка, гражданского населения в поселке нет, поэтому можно гвоздить. И пушкари, минометчики, самоходчики, танкисты, пулеметчики гвозданули по выявленному переднему краю обороны — по окопам, по дзотам, по огневым позициям артиллерии и вообще по поселку. На улицах, за опоясывающим поселок валом, вспыхнули пожары, задымило чадно. В бинокль было видно: на подступах к поселку задымились дзоты, пораженные прямым попаданием,— вверх полетели комья земли, камни, доски; земля и камни вздыбились фонтанами и там, где проходила траншея и ход сообщения. Японцы огрызались. Била артиллерия, били пулеметы. Кто-то ойкнул, кто-то визгливо позвал:

— Санитар! Давай сюды санитара!

Та-ак, знакомые словечки. Еще до атаки звучат.

Наш огневой налет длился с четверть часа. Под конец его вижу: кто-то ползет из тыла к залегшей цепи, точнее — ко мне. Федя Трушин, друг разлюбезный! Обполз свежую воронку, привалился ко мне:

— Здорово, единоначальник!

— Здорово, комиссар! Чего нелегкая принесла?

— Я к бойцам! — И пополз по-пластунски. Поколебавшись, я двинул за ним, пусть и не в самую цепь, но поближе к солдатам. Устав нарушаю! А-а, это комбат и выше обитают подальше, да и то не всегда. Командовать же ротой сподручно и отсюда.

Третья рота атаковала опорный пункт слева, в центре — вторая, а моя — на правом фланге, как и при разведке боем, только еще больше сместилась вправо. Кончился артналет, комбат выпустил ракету, плохо видимую днем, я заверещал свистулькой, висевшей на шнурке, и цепь поднялась, придерживаясь неуклюже ползших танков. До вражеской обороны было сто пятьдесят — двести метров, пушки были подавлены, но пулеметы там и сям уцелели, стреляли очередями. Стреляли и снайперы. Мои снайперы засекали их в слуховых окнах, на крышах и при

повторном выстреле «кукушек», надо полагать, снимали их.

Кроме танков в боевых порядках шли самоходки, и те, и другие стреляли с коротких остановок. Опорный пункт долбаем недурно, не хватает авиации, она б долбанула!

Танки и самоходки перестали стрелять, катили в боевых порядках пехоты, молчаливо подбадривая своим присутствием. Вскидывалось, опадало, вскидывалось «ура». И я на бегу вопил «ура», спотыкаясь, выравнивая шаг. Незаметно очутился в цепи. Ощущение: словно только вчера кричал в атаке «ура». Метров за сорок до траншеи мы швырнули гранаты и, еще громче вопя «ура», строча из автоматов, припустили к ее изгибам. Краем глаза вижу: вырывается Трушин, обгоняют меня и сразу трое солдат. Врешь! В азарте поддаю, догоняю опередивших:

— Ура! Ура! Ур-ра... А-а...

Я кричу, подхлестываемый близостью врага, опасностью и стремлением убить, чтоб самого не убили. И быстрей, быстрей! Опереди, первый нажми на спусковой крючок, первый брось лимонку, первый ударь ножом или саперной лопаткой! Хотите укокать меня, курвы? Я вас укокаю! Зверея, кричу уже не «ура», а матерное. Вперед, в бога-душу, пуля рассудит!

Спрыгнул в траншею, зыркнул по сторонам: справа и слева были уже наши солдаты, растекались по изгибам. Японцев не видать. Вдруг дверь подбрустверной землянки с треском раскрылась, в траншею выскочил, гортанно вскрикивая, офицер, вскинул палаш. Я выпустил очередь, японец завалился на спину — в очках, щеточка усиков, желтые выпирающие зубы, на подбородке струйка крови. Я прислонился плечом к траншейной стенке, обшитой досками: слабость в руках, а в ногах тяжесть — куда девалась невесомость, с какой несло меня в атаку? И подташнивает. Отвык, что ли, убивать? Так рано отвыкать.

В ходе сообщения — топот, гвалт, истошное «банзай», и целый взвод японцев ввалился в траншею, схлестнулся с нашими. Заварилась рукопашная, как в добрые западные времена. Стрелять было нельзя: где свои, где чужие — не разберешь. Стоны, крики, удары. Я стоял как в оцепенении. Командовать? Что? Бессмысленно. Участвовать в рукопашной? Командиру роты? Мало разумного. И однако я отклеился от стенки и ударил прикладом в возникшее внезапно передо мной раскосое лицо с оскаленными кривыми зубами. И в этот же момент увидел: подкравшийся сзади японец коротким, резким движением вонзил винтовочный штык-нож в спину Головастикову. Я в ужасе закричал «Филипп!» и бросился к нему. Японец выдернул штык и повернулся ко мне. Молниеносно я ткнул его ногой в пах и, скрючившегося, ударил наотмашь затыльником автомата в висок. Японец упал. Я подхватил Головастикова под мышки, чтобы выволочь из этой мясорубки, затащить в окоп, оказать помощь.

Помощь опоздала, потому что ножевой штык достал до сердца. Перепачканный его кровью, я еще суетился возле Головастикова, вскрывал индивидуальный пакет, приподнимал Филиппу голову, которую он ронял безжизненно. Я хотел позвать санитара или санинструктора, но голос отказал, в горле только пискнуло. И люди, мелькавшие вокруг, увиделись мутными, расплывающимися. Понял, плачу.

Ты полежи, Филипп, полежи, перед тем как тебя зароют, а мне надо в бой. Чтоб за тебя отомстить. Я положил его голову, и она откинулась набок. Рукавом вытер себе глаза и встал. И побежал по траншее. Как в тумане, возникла фигура японца, выставившего перед собой карабин со штыком. Сработала мысль: поблизости наших нет, можно стрелять — я выпустил три-четыре пули.

За изгибом увидел японцев с поднятыми руками, оказалось: ошибся, это были маньчжуры. Я крикнул во все легкие:

— Кто поднял руки — не трогать!

Командирский рефлекс: надо предупредить солдат. Не то в горячке боя, в порыве мщения могут срубить и того, кто сдается в плен. Хорошо, что у самого рассудок на этот случай достаточно трезвый. Я крикнул:

— Ребята, давай по ходу сообщения! В глубь обороны!

Спотыкаясь о чьи-то ноги, наступая, на чьи-то руки, я побежал по ходу сообщения, за мной — Свиридов, Кулагин, Симоненко, Черкасов. Над ходом сообщения просвистывали пулеметные очереди, где-то стучали «гочкис» и «максим», поверху перекатывался бурый едкий дым. На левом фланге и в центре — разнобойное «ура». Ну, «ура» и мы крикнуть можем.

Парторг Симоненко взмахивает автоматом:

— За Родину!

А где же замполит Трушин? В сутолоке рукопашной схватки растеряли друг друга. Только был бы жив! Ухнули взрывы. Саперы подорвали дзоты? А не танки подорваны? Надо выбираться наверх. Разметав проволочные заграждения, проутюжив выносные окопы, они перемахнули траншею, пошли в глубь поселка, часть моих людей — с ними. Но и самому быть ближе к танкам нехудо.

Мы выкарабкались из хода сообщения, где он врубался во вторую линию траншей, и, пригибаясь, побежали к двухэтажному кирпичному зданию, возле которого стоял танк и бил по окнам второго этажа. Увидел в воронке Трушина: живой! Машет пилоткой: жми сюда! Я плюхнулся в воронку рядом с ним. Выставив автоматы, открыли огонь по оконным проемам: там засели снайперы-смертники в белых рубашках и штанах, белое — цвет траура, ну и будет вам траур. Танковые снаряды кромсали здание, горели оконные рамы, красная кирпичная пыль висела кисеей. Выстрелы, разрывы, треск, звон разбитого стекла. И еще гуще дым.

— Гляди, Петро!

Я посмотрел на Трушина, а потом туда, куда он ткнул пальцем. Меж битых кирпичей, комьев подкопченной глины и прижухлой травы полз японец — в

белой одежде и с белой повязкой вокруг головы, на повязке иероглифы. Смертник! На спине мина, курс — к нашему танку. Мы повели огонь по нему. Смертник, извиваясь, полз и полз. Как заговоренный! Но метров за тридцать до танка чья-то очередь достала: дернулся и замер, выбросив руки. А затем чья-то очередь угодила в мину. Рвануло — аж перепонки заныли. Смертника — в клочья. Лишь трава курилась там, где он только что лежал. Еще один смертник пополз к другому, слева, танку. У него мина была на бамбуковом шесте: бросаться под днище самому не надо. Но автоматные очереди и его пригвоздили быстро. А мина на бамбуковом шесте так и осталась невзорванная.

Ближний танк я узнал: макухинский, бортовой номер «сто двадцать семь». Здравствуй, воюй благополучно! Да, баталия идет к концу. Танкам продвигаться уже нет надобности, пехота выкуривает остатки гарнизона из полуобвалившихся зданий, из полуразрушенных дзотов. Разведчики перекрыли дорогу, по которой можно было отступать из поселка, так что окружение.

Танки перестали стрелять, и я послал взвод Славы Черкасова в обход двухэтажного дома, чтобы зайти с тыла. И прочие дома стали окружать. Стрельба слабела.

Собирают пленных. Трушин говорит, что маньчжуры хотели сдаться раньше, да японцы не дали. Теперь, кто остался в живых, стоят толпой, у их ног куча брошенного оружия. Жители поселка ушли в горы, в леса, японцы напугали: русские будут убивать, грабить и насиловать — это похоже на немцев: сами злодействовали, а нами стращали. Пленные потные, грязные, туповатые. Кто из них убил сегодня наших? А ведь я приказывал пленных не трогать. Правильно приказывал.

Оказалось, ранило Яшу Вострикова, кисловодского жителя, книгочея, милого юнца. Разыскал меня, протянул здоровую, левую, руку:

— Товарищ лейтенант! Не могу эвакуироваться, не попрощавшись.

— Ну, прощай, Яша!

— Да уж вряд ли свидимся, товарищ лейтенант! Вы пойдете дальше, а я в тыл. Не повезло...

— Как сказать! Наверняка походишь под солнцем и луной...

— И вы походите! Товарищ лейтенант, просьба есть... Проследить, чтоб представление не затерялось... Сержант Черкасов сказал, что за сегодняшний бой представят к медали «За отвагу»...

— Представим. Проследим. Не затеряется...

Нашел, о чем беспокоиться. Хотя еще на Западе мечтал о награде, жалел, что пополнение опоздало к боям. Получишь, получишь свою медаль. Коль отважно дрался, коль ранен. А погибших, и Филиппа Головастикова среди них, похоронили на окраине, в братской могиле. Ломами долбили землю — лопаты не брали,— чтоб яма была поместительная. Вот так: будут бои и стычки, и будут выбывать мои солдатики.

В поселке ночлега не было, и привала никакого не было. Держался еще световой день, комбриг решил: марш продолжать! И, наскоро приведя себя в порядок, передовой отряд снова двинулся по горной дороге, вернее, по горному бездорожью: то, что подходит лошади или человеку, не подходит машинам. Поэтому и двигались медленнее, чем хотелось бы. Солнце висело над зубчатой грядой, алое, закатное, по ущелью плавал застойный туман, оттуда тянуло сыростью.

Я опять ехал на танке номер «сто двадцать семь»; лейтенант Макухин по пояс высунулся из башни, прицениваясь к подъемам и спускам. Но и спускаясь, мы все-таки поднимались: общая высота неуклонно росла. Стало закладывать уши. Десантники сидели молчком. Толя Кулагин затеял было говорильню: после боя шиш пообедали, когда же будет обед, когда будет ужин? — но его не поддержали. Хотя, наверное, у многих сосало с голода. Устали, да и напряжение не спало: бой, опасность, кровь товарищей.

Ехали без заминок, дотемна, когда уже стало опасно из-за плохой видимости. Стоянку разбили у подножия горы. Комарье и мошкара набросились, стервецы. Воняло болотной затхлостью. Воздух охолодал, ребята раскатывали скатки. Тучи закрыли небо, лишь изредка посвечивали звезды, не в силах перебороть мрак. У костров, приятно горчивших дымком, ели всё разом — и обед, и ужин, набивали животы. Невдалеке, в километре, в деревне баргуты жгли кизяк, лаяли собаки. Видать, не испугались нас, не ушли. Освободителей бояться не надо. Сходить бы в деревню, но нету моченьки. Расстилай шинелишку — и на боковую. Спать одному было холодно. Испытанное, фронтовое: шинель вниз, спина к спине, вторую шинель наверх. Можно с ординарцем Драчевым скооперироваться. Но не подойдет ли Трушин, дружок мой? Частенько ночуем на пару. Действительно, через десяток минут Федя Трушин пришел. Драчев сказал:

— Мы заждалися вас, товарищ гвардии старший лейтенант.

Мы — это значит я и он. И так можно: он и я. Трушин приветливо ответил:

— Служба, Драчев. У тебя ординарская, у меня замполитская... Парторгов собирал...

Я расстелил свою шинель:

— Ложись, Федор.

— Мерси, Петро. Но перед сном перекурим... Давай твоих!

Задымили папиросами, тщетно надеясь, что дымок маленько разгонит комаров. Трушин сказал:

— Да, самураи дерутся зло, отчаянно. Одна из причин: командование им внушило, что русские в плен не берут, убивают на месте... Да и так фанатичны до чертиков... Но наши удары, Петро, их отрезвят!

— Это верно. К прискорбию, их отрезвление стоит нам жертв. Вот у меня Головастиков погиб, лейтенанты Иванов и Петров ранены...

— Потери есть... Больно!

Ночной мрак шуршал шагами часового, шелестел травами, лаял псами в деревне, плакал шакалами в распадке, шлепал одиночными каплями собирающегося дождя. Рано или поздно дождик будет, но Филипп Головастиков этого не увидит. Сжалось сердце, когда подумал о нем. Он сделал все, что мог, отдал все, что имел,— жизнь. За Родину отдал, за нас, за меня. И за ту женщину в Новосибирске, которая, по несчастью, была его женой.

И вдруг представилось послевоенное: я женат, у меня дети, жена непутевая, вроде головастиковской, семья рушится, я страдаю, правда, на жену рука не подымается, но сам готов в петлю. Возможно ли такое? А почему же нет?

19

Еще ночной мрак трещал цикадами — совсем как у нас на Дону или на Черном море, в поселочке Гагры. Робко, уютно, по-домашнему. И ночной же мрак сказал баском Трушина, совершенно бодрым, ясным:

— Петро, не спишь?

— Покуда нет.

— И я не сплю... Мучает совесть. Замполитские обязанности не все выполнил.

— Что именно?

— Надо было б сходить в деревню. Побеседовать с жителями, рассказать об освободительной миссии наших войск.

— Уже около полуночи.

— Ну и что? А днем когда же ходить? Днем марши и бои... Нужно было б сходить сразу, после ужина. Да уж ладно, и китайцы вряд ли спят, до сна ли? Так пойдешь со мной?

— Сейчас? Ты серьезно?

— Вполне: прихватим переводчика, парторга Симоненко...

— А если в деревне японцы?

— Пленим! Прихватим с собой пяток автоматчиков. Побеседуем, побудем там часик — и восвояси. Малость недоспим — так что ж, на войне недосып — нормальное явление... Идешь?

— Иду,— сказал я, в душе сомневаясь: нужны ли эти полуночные беседы? Но замполита не оставлю, мало ли что может произойти в деревне.

— Поднимай автоматчиков! — сказал Трушин и пружинисто вскочил на ноги.

Симоненко, Свиридов, Логачеев, Кулагин, Погосян и Рахматуллаев, конечно, уже подхрапывали, но, разбуженные, сноровисто стали собираться. Миша Драчев упросил взять и его: во-первых, ординарцу положено быть при командире роты, во-вторых, кто же упустит шанс поглазеть на чужую жизнь? А сон — отоспимся на том свете!

Но старшина-переводчик из осевших на Дальнем Востоке китайцев, за которым зашли в штабную палатку, заартачился: зачем и отчего, да кому это нужно, да ночью спят — и зевал, клацая клыками. Он и потом клацал, когда группа во главе с Трушиным, отзываясь на оклики часовых, выбралась на оленью тропу. Посвечивая фонариками, мы спустились скалистым выступом, по кустарниковому гребню поднялись на относительно ровную площадку и в конце ее уперлись в земляной вал. Мы уже знали: в Маньчжурии деревни и города обнесены подобными валами-стенами — пониже ли, повыше ли. Этот вал был метров двух, можно запросто перемахнуть, но Трушин сказал:

— Найти ворота! Мы ж не воры, чтобы проникать с черного хода.

Нашли ворота, раскрыли, вошли в деревню. Собаки, учуяв нас, залаяли еще остервенелей, но на темной, грязной улочке их не было. И ни единой чедывался в кустарник, в нарост дота под гребнем, кизяком и кое-где блеяли овцы. Глинобитные фанзы, очертаниями напоминавшие монгольские или бурятские юрты, выступали неясно из мглы; ни огонька.

— Спят? — озадаченно спросил Трушин. — Что ж, будить?

— Не спят,— сказал я. — Просто не зажигают света.

— Старшина,— сказал Трушин,— ну-ка ткнись в эту фанзу...

Переводчик перешагнул лужицу перед фанзой, сдвинул соломенную циновку, прикрывавшую вход, что-то произнес по-китайски. Из фанзы ответили. Переводчик сказал:

— Зайдем!

Я вошел за Трушиным, за мной автоматчики. В фанзе стало тесно. На полу тлел костерок, в его мигающих отблесках мы увидели семью: хозяина, хозяйку, полдюжины китайчат, забившихся в угол. На взрослых была какая-то рвань, китайчата были голые и тощие-тощие. Тяжело пахло дымом, пóтом, прелью.

Хозяева низко, раболепно кланялись, китайчата зверьками выглядывали из темноты. Переводчик, долго, старательно подбирая слова, говорил, и пока он говорил, хозяева кланялись все ниже и ниже, доставая пол.

— Это отставить,— сказал Трушин. — Ты им переведи: русские китайцам — друзья, поэтому не надо так кланяться... Пусть сядут! И свет пусть вздуют! Лампу ли, свечку...

— Ни лампы, ни свечки нету, товарищ гвардии старший лейтенант. Пламя костра — вот и все электричество.

— М-да... Ну, пусть сядут.

— Они говорят, что не могут сидеть в присутствии русских начальников. Японцы никогда не позволяли этого...

— Переведи: пусть забудут про японские порядки. Теперь порядки будут другие, японскому игу конец, они свободные люди.

Выслушав старшину, хозяева подошли к земляному кану и присели на краешек. Здесь костерок освещал их лучше. Китаец был изможден, сутул,

стрижен наголо, виски седые, на ногах — рваные матерчатые тапочки. Такие же тапочки были и на маленьких, изуродованных, как культи, ножках китаянки,— нам известно было, что маленькая, уродливая ножка здесь признак красоты и девочкам еще в детстве забинтовывают ноги, не дают расти; полуседые волосы китаянки были гладки и редки, просвечивал череп, странно было видеть полулысую женщину. Сколько же ей лет? Ответили: ему сорок, ей тридцать пять. А похожи на стариков.

Глиняный пол, глиняный кан, прикрытый соломенными циновками, никакой утвари, кроме глиняных же кувшинов и мисок, вместо трубы в верху фанзы дыра, окошко заклеено рисовой бумагой.

— Извиняются, что нечем угостить,— сказал переводчик. — Японцы дочиста обобрали.

— Да они без японцев нищие,— сказал парторг Симоненко. — Советская власть им надобна! Тогда заживут как люди!

— Слушай, Микола,— строго сказал Трушин. — В беседах с местным населением не вздумай устанавливать здесь Советскую власть. Наш принцип — невмешательство во внутренние дела. Сами разберутся, какую власть выбрать.

— Советскую выберут!

— Надеюсь... Но в беседах надо делать упор на освободительную миссию Красной Армии.

Я увидел, как солдаты потрошат свои вещмешки: достают хлеб, сахар, вручают хозяевам. Те — ладонь к ладони, руки к груди — кланяются, как заведенные. Сержант Симоненко:

— Нехай пацаны сахар спробуют, небось за всю жизню не спробовали...

— Вот что,— сказал Трушин. — Деревню не соберем, а соседей можно. Переведи, старшина: пускай кликнет соседей сюда...

— Слушаюсь, товарищ гвардии старший лейтенант!

Китайцы — одни мужчины — явились тут же, будто стояли за стеной. Трушин рассадил их на пол, на кан, откашлялся:

— Переводи. Однако не части...

А я с автоматчиками выбрался на волю, посмотреть, что и как. Японцев в деревне нет, да мало ли что? А если нагрянут с гор? В темноте шумела чумиза, горбатился вал, окружавший деревню, как тюрьму, по-прежнему брехали собаки. Под сапогами чмокала грязь.

Минут сорок спустя из фанзы вышли Трушин и Симоненко, сопровождаемые галдящими китайцами. Трушин, довольный, сказал:

— Разбудил в них общественный темперамент, вопросами засыпали... Но главное — рады, что японское рабство сброшено...

Китайцы проводили нас до ворот, остались у вала, махая соломенными шляпами и крича:

— Шанго! Шанго! [1]

— Ребятки,— сказал Симоненко с важностью,— до расположения два ли!

— Это с чем едят? — спросил Миша Драчев.

— Ли — полкилометра. По-китайски.

— Ишь ты, по-китайски... Ты, парторг, повожжался часик с китайцами — и уже просветился.

— Он таковский,— сказал Кулагин. — Но до чего ж бедно живут в Китае, трудно и представить.

— Представили в натуре,— сказал Свиридов. — При эдакой житухе только революцию делать.

Логачеев подхватил:

— А что, сделают революцию! С нашей помощью!

— Логачеев,— с великой строгостью сказал замполит Трушин. — Что я толковал насчет невмешательства в китайские дела?

— Так мы же между собой,— простодушно сказал Логачеев. — А на международной арене будем дипломатию разводить.

Миша Драчев фыркнул:

— Из тебя, Логач, дипломат, как из меня барышня!

— Из тебя барышня хреновая, а я б дипломатию соблюдал! Однако ежель бы китайцы попросили о революционной помощи, не отказал бы!

— Уймись, Логачеев,— сказал Трушин. — Это проблемы будущего. В настоящем же — разгромить Квантунскую армию в сжатые сроки.

— Вы будете смеяться, но это мы понимаем, товарищ замполит...

За разговором незаметно преодолели километр, или два ли, как объяснял Микола Симоненко, и на склоне замаячили контуры танков и автомашин.

Дождевые капли продолжали шлепать, словно срывающиеся с дуба желуди или пули на излете, но дождя так и не было. Я посветил фонариком на часы: полвторого. По монгольскому времени. А тут какое?

Побудка была на сером рассвете. Ежась от сырости и холодка: ночи в горах — ой-е-ей,— мы коекак ополоснулись из студеного ручейка, а до умывания наполнили фляги, военфельдшер разрешил, снявши пробу воды. Умываясь, обнаружили друг у друга: лица распухли от комариных укусов. Толя Кулагин разглядывал себя в карманное зеркальце, вздыхал:

— Мордализация! Разнесло, как с похмелья.

Шараф Рахматуллаев тоже гляделся в карманное зеркальце, качал головой и цокал. Да, видик у всех...

Позавтракали рано, до восхода, а с восходом колонна уже втягивалась в горы. Горловина заставляла ужиматься — давно миновало времечко, когда танки и автомобили шли уступом, теперь только в затылок один другому. Кружили меж отвесных высот и трясин, доверяясь тропам. Они-то выведут. Но куда? Какая из них взберется на перевал Джадын-Даба? Или на прочий-другой, меня бы любой устроил, в конце концов. Да комбрига устроит далеко не любой. Даешь Джадын-Дабу!

По военной науке полагалось бы идти по азимуту. А идем, куда велит тропка. Кружим, петляем,

---

[1] Хорошо! Хорошо! (кит.)

иногда возвращаемся назад, чертыхаясь про себя и вслух. Группы разведчиков и саперов на мотоциклах выбирают отряду дорогу, но она совершенно же незнакома, нет-нет да и заведет в тупик — упремся в стометровую скалу, поворачиваем вспять. Не развернешься, и хвост колонны становится головой, и комбриг со свитой пробирается из конца в конец. Дальнюю разведку маршрута ведут легкомоторные самолеты, которые на Западе называли «кукурузниками», а здесь «чумизниками»: летают низко, едва не задевая чумизу.

Сегодня мою роту пересадили на «студебеккеры», а вторую — взамен нас — на танки. Пусть-ка покатаются на стальных конях, об бока которых ушиблены наши собственные бока — аж охаешь; да и у начальства под рукой пусть-ка побудут. В «студебеккере», на широких удобных скамьях вдоль бортов, не езда — удовольствие. Сидишь уверенно, за борт не свалишься. Свалиться можно лишь вместе с машиной. В пропасть.

Когда мы уходили к «студебеккерам», лейтенант Макухин, хлопая длинными изогнутыми ресницами, сказал мне:

— Петя, еще встретимся! Еще покатаешься на моем танке!

— Надеюсь,— сказал я.— Счастливого пути, Витя!

В «студебеккере» даже клевать носом можно. Что клевать — дрыхнуть натуральнейшим образом. Спиной упрись в борт, плечами — в соседей, ногами — в пол и свисти в обе ноздри, если у тебя нервы крепкие. Автомат только не урони, он на коленях, обмотай руку ремнем — не уронишь. Подбросить во сне на доброй яме либо камне, конечно, может, без маленьких неудобств не бывает. И солдаты спят-дремлют, отдавши свои судьбы в мозолистые, провонявшие бензином руки водителей.

То крутизна, то резкий спуск. Головоломно! Не в редкость: гусеница или колесо зависают над краем пропасти, и кажется, что танк или автомобиль сорвется. Сердце замирает, когда видишь это. Но вот он уходит из опасной зоны, жмется к скальной стене — и облегченно вздохнешь. Пронесло! Пронеси, господи, и впредь! Не в редкость и остановки. Тогда я приоткрываю дверцу, заглядываю в кузов: как там мои орлы? С орлами порядок: сидят, не скучают, кой-кто благополучно дрыхнет, невзирая ни на что. Ничего удивительного: солдатики умудрялись спать и на ходу, во время ночного марша. И вообще сон для солдата — великая штука: силенки сохраняет.

Технике форсировать горный хребет труднее, чем пехоте. На моих глазах в пропасть свалилась полуторка — по счастью, в кузове были не люди, а какие-то ящики, водитель сумел открыть дверцу кабины и в последний момент выскочил. Полуторка полетела вниз на каменные клыки, ломаясь, как спичечный коробок. Непередаваемо: секунду назад на этом месте, подвывая мотором, ползла машина, а глядь — ее уже нет, лишь пыль стелется там, где она падала в пропасть; бледный, трясущийся шофер заглядывает вниз, будто пытаясь взглядом задержать машину.

На особенно крутых подъемах мы соскакиваем на землю, толкаем «студебеккер», на резких спусках, ухватившись за концы веревок, привязанных к машине, удерживаем ее от слишком быстрого сползания. Водителям достается! Зубы стиснуты, желваки вспухли, руки намертво обжимают баранку, лицо залито потом — не от жары, от напряжения. Мой водитель, дядька лет сорока, рябоватый, с большой родинкой на переносье, буркнул:

— Лейтенант! Сунь мне в рот папироску!

Я сунул ему в рот папиросу, поднес зажигалку, он пыхнул.

— Вдохнешь табачного яду — жить слаще, лейтенант!

Докурив, он плевком выбросил окурок поверх опущенного бокового стекла.

Мы незаметно, но неуклонно поднимались на хребет. Над ним в поднебесье парили орлы, на ближних черных, обугленных пнях сидели черные, словно обугленные, птицы. Даурские галки, что ли? При нашем появлении они нехотя взлетали. Гряда, за ней еще гряда, а за той — новая. У подножия — ели и лиственницы, повыше — багульник, голые камни.

Мой водитель рассказывал:

— Из Нерчинска я, лейтенант. Кондовый забайкалец. Перед мобилизацией женка померла, а сына призвали еще ране. Остался я один, поругаться и то не с кем. Спасибо, мобилизовали, посередь людей теперь...

Я не нашелся что ответить, раскрыл пачку «Беломора», угостил и сам угостился.

Перекурив, шофер сказал:

— С женкой жили немирно, в который раз посорились — и вдруг понял: разлюбил ее. Ну, а после она померла... Так-то вот, лейтенант...

И опять я не нашел что ответить.

В дымке млели горы. В теснинах сыро пластался туман. На голых пятачках, казалось, вовсе без земли, ютился орешник,— сломанная увядшая ветка висела на зеленом кусте, как черная тряпка; береза завалилась, но не упала, корень вывернут не до конца: растет лежа, опираясь на две большие ветки, как на костыли; у другой березы корень вылез, а затем снова врос в скальную трещину, образовав полукольцо. Причуды хинганской природы...

Мы тряслись в кабине, вершины поворачивались то одним боком, то другим. Водитель, напрягшись, крутил баранку, не спускал глаз с дороги, на меня ноль внимания. А у меня возникло ощущение, будто умерла моя жена и я один на белом свете. Нет, не один! Есть на свете Эрна, которая любила и, возможно, любит меня. Дорогая мне женщина, не забудь слишком уж быстро, что у нас было. Эрна — немка и не станет моей женой никогда. Но разве это ее вина, что немка? Вспомнилось вдруг, как не спеша, с достоинством, маленькими кусочками ела голодная Эрна мою снедь. Пройдет много лет, а мы с тобой так и не увидимся, Эрна! И я представил себя семидеся-

тилетним, шестидесятилетним, на худой конец пятидесятилетним. Мало радости у стариков. Спасибо, если не выживу из ума, в старости это случается. Смогу в старости думать — уже счастье.

У заболоченной долинки, притулившейся к скале, колонну обстреляли. Саперы на скорую руку загатили болотистый участок, танки шли сторожко, словно на ощупь: чуть в сторонку — и засядешь. Автомашины с пехотой, артиллерия сгрудились, пропуская танки. И в этот момент на гребне застучал пулемет. Этим уже не удивишь, но не сразу разобрали, откуда бьет. Потом засекли: с двугорбой сопки; ориентир — расщепленный ствол лиственницы либо ели.

Несколько танковых пушек, развернувшись, врезали по двугорбой сопке. Ее заволокло дымом и пылью, а гулкое горное эхо начало метаться туда-сюда. Для страховки, после паузы, еще обстреляли сопку. Все. Молчит. Но что это было — отдельный пулеметчик-смертник или здесь опорный пункт? Полковник Карзанов объяснял офицерам: из Халун-Аршанского укрепрайона, блокированного нашими войсками, некоторым подразделениям удалось вырваться, и они поспешно, в беспорядке отступают в горы, к перевалам. Возможно эти подразделения, оказавшись на нашем пути, занимают пустующие в тылу узлы сопротивления или даже необорудованные позиции. Так либо иначе, не исключено, что это не одиночный пулемет. Поживем — увидим.

Пехоте пулемет страшен, танку — нет. Танку страшна пушка: ударит из засады, внезапно, в уязвимое место — и хана тебе. Оставляя за собой струи сизоватого дыма, танки с той же осторожностью двинулись вперед, за ними — вереница самоходок, орудий, автомашин. Я как будто накаркал насчет японских пушек: через триста — четыреста метров головная походная застава была обстреляна снарядами. Орудийные выстрелы громоподобно раскатились по горам, высекая эхо. И следом, будто вдогонку этому эху, выстрелили танки. Пока что, очевидно, они били вслепую, ибо обнаружить огневые позиции японской пушки среди каменных россыпей непросто, надо приглядеться. Да и одна ли она? Может, тут целая батарея?

Покамест ты будешь приглядываться, разворачиваться, прицеливаться, пушка шарахнет под гусеницу или в моторную часть. Ведь эта противотанковая пушка может находиться в хорошем укрытии, в доте, например. Попробуй заприметить бойницу да попади в нее! У японцев огромное преимущество: они наверху, мы внизу, они, по-видимому, в укрытиях, мы — как голенькие, у них пристреляно, а нам еще предстоит пристреляться. И снова я как накаркал: с вершины ударили почти что залпом четыре пушки. Снаряды, обволакивающе шурша, пролетели над колонной и с обвальным грохотом разорвались на сопке. Танки развернули пушки, самоходки и орудия тоже развернулись стволами, однако соваться наобум, без пехоты, все-таки нельзя. В горловине нас могут запереть, делается это очень просто: подбивают первую и последнюю машины, и пробка обеспечена. А потом на выбор расстреливай машины, лишенные маневра. Пехота должна штурмовать эти укрепления! Вон видна в кустах амбразура, вон вторая, вон и третья, где-то есть и четвертая, пока не засекли.

Комбриг Карзанов вызвал к себе нашего комбата. Тот вернулся спустя десяток минут, строгий, серьезный, с поджатыми губами, собрал ротных командиров, сказал, едва раскрывая рот:

— После артподготовки штурмуем доты! Первая рота штурмует правый, вторая — средний, третья — левый! Тот, что на отшибе, штурмуют саперы!

Ага, значит, и четвертый засекли, порядок. Я вглядывался в кустарник, в нарост дота под гребнем, прикидывая, как будем карабкаться к доту — из него стебануть по склону весьма подходяще! Испытанное на Западе средство — зайти с тыла, окружить, блокировать. У немцев, это известно из практики, амбразуры, как правило, обращены были в одном направлении. У японцев, это известно из теории, то же самое. Вполне вероятно, что тыльных амбразур у этих противостоящих дотов нет. Разведать бы, да некогда: танковые пушки, самоходки, колесная артиллерия начали огневой налет. Шум превеликий: звуки боя в горах троекратно усиливаются. Выстрелы, разрывы, пороховая вонь, пламя, дым, пыль, кусочки расколотых скальных пород — как снарядные осколки. Давай, давай, на войне как на войне, как в лучшие времена.

Огневой налет был короткий. Под шумок я выдвинул роту поближе к долговременной огневой точке. Не скажу, что это было легко — обдираясь в кровь о ветки и камни, где перебежками, где ползком подняться по склону на рубеж атаки. Я двигался вслед за цепью, рядком со мной ординарец Драчев и связные от взводов. Сердце билось у глотки, пот щипал глаза, руки и ноги дрожали от бега. В гору бежать — я т-те дам, как говаривал Толя Кулагин. Рот пересох, губы склеило, и это беспокоит: надо будет кричать, командовать, а губ, кажется, не разлепить.

— Правей, правей бери! — кричу хрипло, солдаты не слышат.

— Правей бери... твою так!

Это солдаты слышат и берут правее. Все нормально, и добрый матюк тоже.

В минуты опасности обостряется зрение, и воспринимаешь всякие мелочи, не всегда нужные тебе. Вот замечаю, какой шаркающей трусцой бежит сержант Черкасов. Бросаются в глаза уши Погосяна — без мочек, пористый нос Миши Драчева, прилипший к чьему-то сапогу сухой стебелек. Но эти мелочи заметил — и забыл, стараюсь сосредоточиться на главном, на том, что нужно в бою. За четыре месяца можно отвыкнуть от того, что было сутью жизни четыре года? Нельзя!

Рота залегает на рубеже атаки — пять обомшелых валунов вразброс. Высунувшись из-за валуна, наблюдаю за нашим дотом. Артналет не причинил ему вреда: из большой амбразуры стреляет пушка, из амбразуры поменьше — пулемет. Их обстреливают

мои снайперы, но будем подбираться — и противотанковыми гранатами! Кричу:

— Черкасов, ко мне!

— Есть, товарищ лейтенант!

Близко подползает сержант Черкасов, перепачканный глиной, исцарапанный. Говорю ему:

— Поведешь свой взвод в тыл доту. Атаковать по моей зеленой ракете!

— Понял, товарищ лейтенант! Разрешите выполнять?

— Валяй. Успеха тебе...

Черкасов уползает. Командую:

— Дозарядить оружие! Гранаты к бою!

Гранат у нас вдоволь, включая противотанковые, полный комплект патронов — воюй не хочу. Обождав, когда взвод сержанта Черкасова, по моим расчетам, зашел доту в тыл, стреляю зеленой ракетой. Она повисает растекающейся чернильной кляксой. Солдаты, оглядываясь друг на друга — исконная фронтовая привычка убедиться, что и другие поднялись, не сдрейфили,— вскакивают и, вопя «ура», зигзагами бегут к доту. Кто-то падает: оступился ли, пуля нашла ли. В тылу дота стрельба: это Черкасов.

Я бегу вместе со всеми, не кланяясь пулям и думая об одном — поближе к амбразуре и шмякнуть противотанковой. Спотыкаюсь, в коленке хряскает, и бежать уже больно. Хромаю, но бегу. Исступленно ору «ура», как и остальные. Очередями стреляю из автомата в черный провал амбразуры, как в черную пасть. Охватывает азарт. Скорей к доту, скорей сунуть ему гранату в ощеренную пасть. И отрешенность охватывает, и безбоязненность: да ничего со мной не стрясется, все осколки и пули мимо. Одним словом, «ура».

До дота шагов пятьдесят. Позади нас рвутся снаряды, впереди — вспышки выстрелов в амбразурах. Ухнула противотанковая граната, и дот изнутри словно озарился светом и осел. Черкасов! Молодчага! Подбегаем и мы, в амбразуры летят гранаты. Пушка и пулемет добиты. Валит дым. Выжимает слезу, першит в горле. И какая-то странная пустота в сердце.

Вход в дот был разворочен, ход сообщения к доту обвалился, горела землянка неподалеку, валялись винтовки, карабины, ящики с патронами, плетеные корзины со снарядами, на бруствере и на дне траншеи убитые японцы: два солдата друг на друге — матерчатые кители, обмотки, кепки с острыми жокейскими козырьками, шеи обмотаны полотенцами в пятнах крови, офицер в изодранном желто-зеленом кителе, в окровавленной фуражке, лицо в крови, пальцы намертво зажали эфес палаша, подальше еще два трупа. На войне как на войне...

В районе других дотов взрывы и пальба тоже прекратились. Тишина давила на перепонки, в ней, внезапной и глубокой, слышно было, как потрескивает горящее дерево да стонет раненый японец: стоит на коленях, дует на простреленную кисть, китель на спине располосован, видно серое, псивое белье. К японцу подходит, косолапя, наш санинструктор, усатый добродушный дядька, достает из сумки с красным крестом бинт, перевязывает руку, японец таращится с недоверием и страхом. Я смотрю на это с двойственным чувством: правильно, раненому надо помогать, хоть он и враг, а нашим раненым уже помогли, и сколько их, раненых, и сколько наших убитых, которым уже не надо помогать?

Как всегда, думал о своей роте: кто ранен, кто убит, а может, беда обошла стороной? Не обошла, хотя при штурме дота потерь могло быть и больше. Больше? Как будто убитого и двух раненых мало. И все — из юнцов, из забайкальского пополнения, сомневаюсь, что их целовал кто-нибудь, кроме матери. Фамилии помню, но узнать людей как следует не успел. Не успел и с ранеными попрощаться, их незамедлительно эвакуировали на санитарной «летучке». С убитым, с Лоншаковым, попрощаться успел. Мальчика перенесли с места, где убило (не он ли, будто споткнувшись, упал в атаке?), вниз, поближе к дороге. Похоронщики — один за руки, второй за ноги — сносили сюда погибших. Чтобы захоронить без излишних церемоний. Я постоял у щуплого, не мужского тела Лоншакова, навечно запоминая удивленно раскрытые глаза, стриженый затылок, высокий чистый лоб, по которому ползала муха. Вялой рукой согнал муху и, сгорбившись, отошел. Головастиков, теперь Лоншаков, да и все ли раненые выживут? И среди них те, кого целовала только мать.

Одна смерть впечатляет, к множеству их, как на войне, привыкаешь? Я не привык.

После войны буду ходить по земле толчками, как слепой, от могилы к могиле, где захоронены однополчане.

Помню довоенные кладбища. На могильных фотографиях — живые, молодые лица, и было ощущение: на кладбище все вокруг мертво, а эти, на фотографиях,— живые.

Приминая зеленый лишайник на тропе, подъехали полевые кухни. Сержанты доложили мне о состоянии взводов, старшина Колбаковский — о состоянии ротного имущества, которое везут в хвосте колонны. Я выслушивал их, стегая прутиком по сапогу. Вверху раздалось курлыканье. Журавли? Я поднял голову: вороны! Каркали они не грубо, а как-то нежно, будто журавли. Да-а, журавли. Помню, над Доном они летели клиньями, курлыкали. И над Задоньем курлыкали, куда пошла в поход дворовая ребятня. В небе журавли, а на земле иные чудеса: в степи, над кустарником, на одном телеграфном проводе сидело множество сорок — трещали, сорочили, на соседнем проводе сидели вороны — каркали, будто и те, и другие проводили свои собрания. А через протоку переправлялись полевые мыши: первая держалась за коровий блин, остальные — зубами за хвост впереди плывущей, такая вот цепочка. И я всего-навсего пацан, подросток...

20

Плиев

Оперативная группа генерала Плиева — несколько «виллисов» и штабная машина с телеграфом и радиостанцией — нагнала первый эшелон дивизии, которой командовал тридцатилетний полковник.

— График движения выдерживаете? — спросил Плиев.

— Так точно, товарищ командующий! Согласно вашему приказанию...

— С маршрута не сбиваетесь?

— Никак нет, товарищ командующий!

— Посмотрим на карте.

Он и комдив склонились над развернутой офицером-направленцем картой. Комдив, обворожительно улыбаясь, сказал:

— Товарищ командующий! На карте деревни помечены, подходим — в помине нет, место голое, как ладонь.

— Карты — одно, собственные глаза — другое.

— Но наши разведчики докладывают по рации: выходят к Долоннору. Значит, город на месте!

— Этак и Жэхэ может оказаться на своем месте! — Плиев тоже улыбнулся, собрав морщинки у глаз.

А до улыбок ли ему? Взгляд генерал-майора Никифорова, начальника штаба конно-механизированной группы, достаточно красноречив: я, мол, предупреждал, что такое пустыня Гоби, это вам не Европа, китайцы называют ее «Шамо», зыбучие пески, пустыня смерти — с ней шутить не приличествует. Плиев ответил на этот взгляд не молча, а полными внутреннего смысла словами:

— Воду подвезут, я поторопил начальника тыла... И водовозами, и легкомоторными самолетами... Наша решающая задача — выдержать взятый темп наступления. Пока мы его — в целом по конно-механизированной группе — даже перекрываем!

— Товарищ командующий, еще одна неприятность,— сказал комдив, продолжая улыбаться,— в соединении бензин на исходе. Моторы перегреваются на солнцепеке, в зыбучих песках, съедают по три-четыре нормы... Бензовозы отстали...

Тот же достаточно выразительный взгляд генерала Никифорова. Плиев сказал:

— Приказываю: слить бензин со всех машин и заправить сколько возможно танков и автомобилей!

— На несколько десятков танков и автомашин наберется, товарищ командующий.

— Исполняйте! А я доложу фронту, попрошу ускорить доставку горючего автобатом и самолетами... Кстати, полковник, еще одна неприятность: отмечено, что японцы отравляют питьевые колодцы. Будьте осторожны!

— Отравляют? — переспросил комдив.

— Стрихнином,— сказал Никифоров, возвышаясь длинной, нескладной фигурой.

«Спасибо за уточнение»,— мысленно сказал Плиев, а вслух:

— Генерал, вы мне здесь не нужны. Поезжайте в штаб. Там ваше рабочее, так сказать, место...

Никифоров пожал плечами:

— Слушаюсь.

«Спровадил? — подумал Плиев. — Чтоб не мозолил глаза? Чтоб не напоминал своим поведением, одним своим присутствием о пропасти, разделившей нас?»

Да, их разделила пропасть, командующего и его начальника штаба. Такое в редкость: начальник штаба не согласился с командующим, отстаивает свое мнение. Формально в этом нет ничего из ряда вон выходящего. А по существу? По существу начальник штаба прямо и косвенно оспаривает решение своего непосредственного начальника. В армии же так не бывает, чтоб оспаривали принятое решение. Решение надо выполнять, согласен ты с ним или нет.

Никифоров удалялся к «виллису», долговязый, сутуловатый и какой-то непреклонный. Наверное, осуждает за эти слова — «Вы мне не нужны здесь». И правда, не нужен. Резкие вырвались слова, но ведь справедливые. Плиев вздохнул и тронул водителя за плечо:

— Поехали.

Не заладилось у них с самого начала. С самого начала произошел крупный разговор в землянке Плиева. Исса Александрович тогда сказал:

— Приказ на сосредоточение группы у границы отдан, и началась борьба за время и пространство!

— Я уже слышал это. — Никифоров поморщился.

— Еще раз услышите, коль не хотите понять: только высокие, высочайшие темпы наступления позволят нам выполнить боевую задачу и разгромить противника с минимальными для нас потерями!

— Темпы продвижения после перехода границы запланированы нереальные,— упрямо сказал Никифоров. — Я давно служу на Дальнем Востоке, в Забайкалье, я знаток этого театра военных действий... Отдаю вам должное, товарищ командующий: у вас богатейший опыт рейдов на западном фронте. Но простите меня: Восток — это не Запад, здесь совершенно иные условия ведения войны...

— Нет уж, это вы меня простите, своеобразие здешнего театра военных действий не отменяет нашего западного опыта, и мы будем базироваться на нем...

Медлительно, будто полусонно, поводя рукой, Никифоров сказал:

— У меня западного опыта нет, зато есть восточный. Снова подчеркиваю: пустыня Гоби — не Европа. По гобийским пескам и кручам Хингана, по бездорожью и безводью наступать со скоростью восемьдесят — сто километров в сутки?

— Именно так! Перед главными силами японо-маньчжурских войск в районах Калгана и Жэхэ наши дивизии должны появиться в неожиданные для противника сроки. Это возможно только при одном условии: если темпы наступления достигнут в среднем ста километров в сутки! Потребуется, понятно, тщательная и всесторонняя подготовка...

— Как ни готовься, войскам не выполнить таких завышенных задач. — Черты у Никифорова твердые, волевые. — К тому же у нас не будет времени для закрепления захваченных рубежей. Легко представить, что может произойти, если враг сумеет организовать контрудар резервами...

— Стремительность наступления как раз и позволит предотвратить контрудары. — И у Плиева лицо жесткое, волевое, но он старается говорить помягче, потише, скрывая раздражение. — Врагу нельзя давать времени и возможности для организованного маневрирования резервами. А что касается закрепления, то можете не сомневаться: завоеванного не отдадим.

Никифоров как бы вскользь замечает:

— И все же я склонен думать, что мы ставим перед войсками невыполнимые задачи. Поддерживать связь и управление будет весьма трудно, пожалуй, невозможно.

— А я уверен, офицеры штаба обеспечат своевременное и непрерывное управление войсками в любой обстановке. Поймите, ваши представления о характере наступательных операций устарели, вы сторонник осторожной войны... Правы вы только в одном: до предела увеличив темпы наступления, мы создадим для себя дополнительные трудности. Но зато это наиболее верный путь к победе. В случае малейшей задержки противник вынудит нас к затяжным боям, которые потребуют длительного времени и больших жертв.

— Да, да, и о возможных потерях надо подумать! — Никифоров свекольно покраснел, повысил голос. — Как бы все ваши планы не обернулись большой кровью!

Исса Александрович в упор взглянул на него: раздулись гневно крылья носа, сжались губы. Но выдержка не изменила ему, и в отличие от Никифорова он внешне спокойно сказал:

— Я убежден в том, что говорю вам. Знаю: меня поддерживают и офицеры штаба... И вот выводы из нашего разговора, который на этом и закончим... Мы должны всюду упреждать противника, бить его по частям, тем паче, что у него на нашем направлении нет сплошного фронта. Запомните и постарайтесь понять и другое: борьба за время и пространство должна обеспечить победу малой кровью...

— Бои рассудят нас,— невнятно пробормотал Никифоров.

— С этим я согласен. Война нас рассудит... Вы свободны, генерал...

Никифоров встал и поспешно вышел из землянки. Исса Александрович в задумчивости остался сидеть над картой.

Не сработались. Как же поступить? То, что генерал-майор Никифоров честно и прямо высказывает свое мнение, достойно уважения. А вот само мнение ошибочно, и вся сложность в том, что Никифоров не понимает этого. Или не хочет понять. Характер упрямый, неподатливый. Известно, что свои взгляды на предстоящую операцию высказывает и другим, не находя, впрочем, поддержки. Как его переубедить? Времени на эту педагогику уже нет. Поставить вопрос перед маршалом Малиновским? Никифорова только что, в спешке, прислали и, надо полагать, так же скоренько уберут. Но это значит расписаться в слабости. Пусть остается, штабист он опытный, будет исполнять что прикажут, «от и до». Жаль, конечно, что начальник штаба, твоя правая рука, не твой единомышленник. Твой противник. Нелепость? Как ни назови, легче от этого не будет. Но он, Плиев, уверен в своей правоте, в своих силах и возможностях. Хотя правоту эту проверит война. И от такой мысли делается неспокойно, очень неспокойно.

Глухое беспокойство возникло и в ту историческую ночь — с восьмого на девятое августа. В степи посвистывал ветерок. Тлели в ладонях, вспыхивали цигарки, освещая лица людей, которым предстоит бой,— суровые, ожидающие. Словно они озарялись светом боя: вспышками выстрелов и ракет, прожекторными лучами, разрывами. За сопками, на маньчжурской стороне, густая чернь, плотная тишина. На передовом командно-наблюдательном пункте Плиева все поглядывали на часы, и чаще прочих генерал Лхагвасурэн, заместитель по монгольским войскам. Плиев оторвался от часовых стрелок — на юге полнеба полоснуло вспышками ракет, выстрелов, взрывов.

— Так,— сказал Плиев, кутаясь по фронтовой привычке в бурку: ночь свежа. — Разведгруппы и передовые отряды ударили по японским кордонам... Путь через границу расчищен. Пора и нам. Заводи! По машинам!

Эта команда «Заводи! По машинам!» послышалась в разных местах. Взревели моторы танков и бронемашин, затрещали мотоциклы, заржали лошади. Нет прежней тишины, нет и тьмы: сотни танков, бронемашин, автомобилей, мотоциклов с включенными фарами двинулись вперед. Ослепительное море огня!

Гром и скрежет танков, гудение автомашин, стук конских копыт. Колонна за колонной проходили через границу с Маньчжурией. В лучах фар — поднятая колесами и гусеницами песчаная пыль. Все как в тумане.

Такой и запомнилась эта ночь Иссе Александровичу. А потом настал день, и взошло безжалостное солнце. Жара, безводье, необозримость сыпучих, переметаемых с места на место, гибельных песков Гоби. Эту чудовищную необозримость предстояло преодолеть, пустыню предстояло промерить километрами — по сто в сутки — и выйти к Большому Хингану. И ведь преодолеваем, промериваем, невзирая на неимоверные трудности! И все больше отдаляется памятная ночь перехода границы.

Волнистые безбрежные пески. «Виллис» генерал-полковника Плиева обогнал колонну советской кавалерийской дивизии. Зной. Пыль. Сушь. Исса Александрович заметил: кавалерист в выгоревшей гимнастерке вяло клонится к шее коня, обхватывает ее — не удержался, упал наземь. На помощь бросились товарищи, приподняли. Плиев остановил машину, вылез. Подошел поближе:

— Ты ранен, сынок?

— Никак нет,— еле слышно прошептал молоденький, безусый солдат опухшими, истрескавшимися губами. — Что со мной, не пойму. Затмение какое-то, слабость...

— Возьми себя в руки, преодолей слабость,— сказал Плиев. — В бою советский солдат может упасть только мертвым!

Усилием воли кавалерист заставил себя встать на ноги. Стоял, шатаясь, боясь упасть. Тронул стремя, поправил. Плиев одобрительно сказал:

— Молодец, сынок! Ты поборол крайнюю усталость. Держись и дальше!

— Слушаюсь, товарищ командующий...

— Скоро будет вода... Японцы отравляют колодцы стрихнином, забивают трупами верблюдов. Мы копаем новые, но воды не находим... И все-таки она будет! И колодцы захватим, и самолетами подбросят, и реки скоро пойдут... Держись, солдат!

— Слушаюсь, товарищ командующий...

В эту фразу, повторенную дважды, безусый конник вложил столько взбадривающей самого себя надежды, что Плиев кивнул, похлопал его по спине. И, поборов жалость к юнцу, не окрепшему, не закаленному, которого мог забрать в машину, но не забрал: что за пример будет для остальных, все же устали, все на пределе,— Исса Александрович сел в «виллис», поехал вдоль колонны, не оглядываясь. Машину болтало и трясло так, что хватался за скобу, того и гляди вывалишься. Тряска прямо-таки выворачивала душу.

Поздним вечером на привале Плиев встретил Цеденбала. Оба были пропыленные, усталые, осунувшиеся. На юге отдаленно погромыхивал бой, из-под полога палатки пробивалась свежесть. Плиев расстегнул ворот гимнастерки, глубоко вздохнул. Цеденбал сказал:

— Товарищ Плиев, я побывал в передовых монгольских частях. Высокий порыв! Стремятся не отстать от советских частей.

— Отставать нельзя, товарищ Цеденбал... Получен приказ командующего фронтом. Учитывая успех наступления конно-механизированной группы, маршал Малиновский требует еще больше увеличить темп.

— Выходит, сами напросились?

— Вообще весь Забайкальский фронт стремительно продвигается, я потом скажу об этом... Что касается нашей группы, то мы должны тринадцатого августа взять город Долоннор. Четырнадцатого — овладеть городом Чжанбей, затем — Калганским укрепрайоном. В последующем продвигаться на Жэхэ.

— При таких сроках темп продвижения придется увеличить!

— Думаю, нам по плечу... Подвижные механизированные группы уйдут вперед! А главные силы — за ними, во втором эшелоне... Надо упредить противника, раньше его выйти к горам, где местность удобна для обороны, и овладеть важнейшими пунктами Большого Хингана...

— Поэтому вперед и вперед?

— Именно... Теперь о действиях Забайкальского фронта... На всех операционных направлениях развиты исключительные темпы наступления. Под ударами фронта рушится тщательно подготовленная оборона. Японские армии — тридцатая, сорок четвертая полевые и четвертая отдельная, теряют связь и взаимодействие, в войсках противника нарастает паника. Успешно развертывается также наступление Первого и Второго Дальневосточных фронтов...

И подумал: «Что же пророчества генерала Никифорова? Похоже, правда за мной... Хотя не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». И вспомнил еще один разговор с Никифоровым. Тот доложил, что штаб приступил к оформлению решения на предстоящую операцию, в общих чертах подрабатываются план и боевые распоряжения. «Из чего же вы исходили, разрабатывая проект решения командующего?» — спросил Плиев. «В основу его, как обычно, положено предварительное боевое распоряжение штаба фронта»,— недоуменно ответил Никифоров. «А я считаю, главные усилия войск группы целесообразно перенести с калганского на долоннорское направление. Это, как вы понимаете, коренным образом меняет проект решения». — «Но это противоречит боевому распоряжению штаба фронта!» — «Противоречит. Поэтому нужно подготовить обоснованное предложение и сегодня же доложить маршалу Малиновскому. Вот смотрите...» — На оперативной карте Плиев показал что и как, разъяснил мотивы, побудившие выдвинуть новые предложения, преимущества перенесения главных усилий на другое направление, приводил расчеты, обеспечивающие значительное повышение темпов наступления, но Никифоров с еще большим недоумением твердил: «Мы не можем этого. Не можем...»

А маршал Малиновский с изменениями согласился!

На солдатский манер — одну полу бурки под себя, другою укрылся — устроился Плиев в машине на ночлег. Тело ныло, голова мутная, нехорошая. Заснуть — взбодрился бы. Но сна-то и не было. Перед глазами вставало увиденное за день, донимала мысль: тринадцатого нужно взять Долоннор, отсюда до города триста километров, за сколько пройдем и каково будет сопротивление японо-маньчжурских войск? Умри, Исса Александрович, а тринадцатого Долоннор должен быть взят! И тогда тринадцатое число станет счастливым. С этой мыслью и заснул наконец.

С ней и пробудился! Нечего прохлаждаться, скорей в путь-дорогу. До Долоннора триста километров? Кладем на день по сотне километров, стало быть, за трое суток будем у города, а то и быстрее. Захватить же его надо бы с ходу. Если это получится — с ходу, избежим потерь, не упустим время.

Едва цедился рассвет, когда Плиев с оперативной группой пустился догонять передовые танковые и механизированные соединения. Из-за горы вылетел самолет, низко прошел, покружился. Наш, краснозвездный. Разведчик. Что ему нужно? Что-то или кого-то выискивает. А тот пролетел еще раз, качнул крылья-

ми — знак, что видит,— снова описал круг и пошел на посадку, взвихрив пыль.

Плиев подъехал. Летчик, горбоносый, но круглолицый парень в летном шлеме и гимнастерке, густо увешанной орденами и медалями, козырнул:

— Вас ищу, товарищ командующий.

— Нашел. Вот он я,— сказал Плиев нетерпеливо.

— Товарищ командующий! Разрешите доложить: от Бандидагэгэн-Сумэ продвигается колонна противника. На рысях.

— Вот за это спасибо, авиация! Предупредил вовремя. — Плиев задумался. Что за конница? Предположительно, из войск князя Дэвана, возможно, первая кавалерийская дивизия. Что замышляют? Двигаются наперерез конно-механизированной группе. Без танковой, артиллерийской, авиационной поддержки. Сам кавалерист, но сейчас так не воюют. На что надеются? Застать нас врасплох?

— Слушай, авиация. Где наш боковой отряд?

— Возле Хамбаламын-Сумэ, товарищ командующий.

— Спасибо, авиация, за точность. И названия местные ты выговариваешь чисто...

Боковой отряд прикроет группу от флангового удара. Отряд сильный — кавалерийский дивизион, танковые и артиллерийские подразделения,— в состоянии разбить дэвановские части. Надо срочно поставить его в известность. Плиев потребовал карту. Глянул остро. Та-ак, встреча отряда с вражеской конницей примерно через два-три часа. Вызвал офицера связи:

— Поезжай в отряд. Передай, что впереди слева маньчжурская конница. Пусть отряд продолжает движение и будет готов к встречному бою.

Передовые части дэвановской конницы — это отнюдь не главные силы, это или безрассудная попытка атаковать группу или продуманный отвлекающий маневр. Чем больше размышлял Плиев, тем определеннее вычерчивался вывод: японское командование стремится уберечь главные силы Дэвана от удара и передислоцировать их к Большому Хингану, где они, слившись с суйюаньской и юго-западной группировками Северного фронта в Китае, займут выгодные для обороны горные районы. Для этого они должны упредить советско-монгольские войска. А мы должны упредить их! Должны захватить перевалы Большого Хингана на нашем направлении. Многое, очень многое решает теперь передовая механизированная группа. Надо ее нагнать и быть с ней! Там место командующего!

Нагоняли ее весь день одиннадцатого, не останавливаясь на промежуточных рубежах. Нагоняли и с утра двенадцатого, пока песчаная буря не накрыла пустыню. Все утонуло в тучах песка, швыряемого ураганным ветром. Движение прекратилось, попрятались кто как мог. Потеряли несколько часов!

Но ведь песчаная буря не обошла и боковой отряд. Что с ним? Плиев по радио связался с командиром истребительного авиационного полка. Приказал:

— Немедленно поднимайте в воздух две эскадрильи. Атакуйте кавалерийские части противника, двигающиеся от Бандидагэгэн-Сумэ. Свяжитесь с нашим боковым отрядом. Установите взаимодействие с ним.

Через какие-нибудь полчаса в небе уже появились самолеты. Приветственно покачав крыльями, они растворились в мареве. Стало быть, за судьбу бокового отряда не столь уж беспокойся. И, стало быть, ничто серьезное не может угрожать продвижению конно-механизированной группы. Авиация сделает что положено.

Как стало известно позже, в боковом отряде обнаружили дэвановскую конницу, изготовились к бою. А тут подоспел приказ Плиева атаковать. С сопки, за которой развернулся отряд, был виден гигантский хвост пыли, волочившийся за плотными рядами всадников. Командир отряда решил: сначала артиллерия ударит по центру вражеской колонны, затем танки и конница, обойдя колонну, атакуют с фланга и тыла. Но план боя пришлось видоизменить, ибо подлетели истребители. Ревя моторами, они принялись обстреливать дэвановские части. Масса маньчжурских конников задвигалась из стороны в сторону, обезумевшие кони шарахались, сшибались, сбрасывали седоков и убегали в степь. Самолеты разметали колонну. Часть ее спасалась бегством. По ней открыли беглый огонь батареи, наперехват устремились тридцатьчетверки и кавалерийский дивизион. Можно считать: попытка атаковать группу во фланг окончилась для маньчжур разгромом.

А нам надо дальше, дальше! Все тропы, все колонные пути после бури засыпаны глубоким песком, пробиваться трудно. Но иного выхода нет. И надрывно ревут моторы, и под пробуксовывающие, вязнущие в песке, как в болотном месиве, колеса солдаты бросают бревна и доски. Исса Александрович на «виллисе» появлялся то там, то здесь, отыскивая дорогу. И наткнулся на механизированную бригаду, которой надлежало быть далеко впереди. А она всего в десяти километрах от озера? В чем дело? Комбриг угрюмо доложил:

— Дороги, обозначенной на карте, в природе не существует. Перед бригадой сплошные непроходимые пески.

— А где танковая бригада? — спросил Плиев.

— Чуть впереди. Пробивается...

Плиев про себя чертыхнулся. Успех стодвадцатикилометрового перехода к озеру Арчаган-Нур — и нá тебе, снова непроходимые пески. Непроходимые! Делать нечего, и Плиев приказал вытягивать подвижную группу из песков, поворачивать на восток и следовать по направлению к озеру Далай-Нур, ведя непрерывную разведку песков самолетами У-2: вдруг да обнаружится дорога?

Обнаружится? Не было ни малейшей уверенности, что высланные разведгруппы и передовые части по тропам или бездорожью выйдут на этом направлении к Долоннору. А на каком выйдут? Вскоре был замечен «виллис»: буксовал, вырывался из песков, буксовал, опять вырывался. Это был офицер связи,

ездивший к танкистам. Плиев, не скрывая нетерпения, спросил:

— Какие новости, майор?

— Новости следующие, товарищ командующий. Южнее озера Далай-Нур местность непроходима, сыпучие барханы. — Майор развернул планшет с картой, ткнул карандашом. — Вот тут, правда, есть караванная тропа, она ведет на юг. Я проехал по ней до монастыря Монгур-Сумэ. Пастухи предупреждали, что долины Луаньхэ мы достигнем не раньше чем через трое суток.

Плиев сосредоточенно разглядывал карту, прикидывал. Истоки впадающей в Ляодунский залив реки Луаньхэ у Долоннора. По докладам летчиков, на подходе к Долоннору есть улучшенная дорога. Добраться бы до нее!

— Маньчжурские пастухи ошибаются,— сказал Плиев. — Передовой отряд пойдет этим путем и достигнет Луаньхэ за сутки!

Сказал и подумал: «Реально? Надо сделать, чтобы было реально!» По радио передал приказ командирам частей: развивать наступление вдоль тропы на Далай-Нур, быть готовыми к ночным действиям по овладению Долоннором.

А потом случилось то, что Исса Александрович назвал приключением и что едва не закончилось драматически. Легковые машины Плиева и его офицеров оторвались от штабного автобуса и двух «доджей» с автоматчиками охраны. Выехав на каменистый холм, «виллисы» чуть-чуть не врезались в странную толпу: человек двадцать в длинных халатах, заросшие, чернолицые, взгляд разбойничий, вооружены автоматами и маузерами.

— Хунхузы! — закричал водитель Плиева.

Самый рослый бандит вскинул автомат, но майор-порученец соскочил с «виллиса» и вырвал у него оружие. Другие хунхузы схватились за маузеры. Однако покуда не стреляли. Напряженные секунды: пятеро против двадцати. Встав на сиденье, Плиев скомандовал:

— Бросай оружие! — и жестом показал, что надо делать.

Тот же майор-порученец решительно подошел к главарю хунхузов в богатом халате, с кобурой, украшенной перламутром, и вырвал у него маузер. И тут позади «виллисов» заурчали моторы отставших было «доджей». Спрыгнувшие на ходу автоматчики принялись разоружать хунхузов. Плиев — уже сидя, привалясь к спинке,— подумал: «Попер на рожон. Не в бою бы мог полечь, а так, по неосторожности». И громко, по-командирски приказал:

— Вперед!

Тас-Обо, гобийский поселок в десяток глиняных мазанок,— промежуточный пункт перед броском на Долоннор. Здесь поздним вечером после стокилометрового перехода сосредоточилась передовая механизированная группа. До города оставалось несколько часов марша! Но вновь возникла жгучая проблема: во всех соединениях горючее на исходе. Перед боевыми действиями войска взяли с собой шесть заправок горюче-смазочных материалов. В обычных условиях их хватило бы на полторы тысячи километров. Но проклятая пустыня Гоби сожрала эти запасы: моторы перегревались, а часть бензина, хоть и была в герметичной упаковке, испарилась из раскаленных бочек. Видимо, разгерметизировались из-за той же адовой жары. Подвоз горючего растягивался, базы и склады все больше отдалялись. Никакого парадокса: войска продвигались в три раза быстрее запланированного и сожгли бензин раньше, чем было предусмотрено. Выход? Единственное, что уже применялось: слить бензин со всех машин и заправить сколько возможно танков. Остальным ждать, когда прибудут дивизионные машины с горючим, а также наливной автобат. И попросить командующего фронтом выслать к середине дня на аэродром в пяти километрах севернее Долоннора самолеты с бензином. Само собой разумелось, что Долоннор будет к этому времени взят.

Конечно, для захвата крупного города нескольких десятков танков и автомашин маловато. Но есть союзники — ночь и внезапность. Мотомехчасти первыми ворвутся в Долоннор. А чтобы обеспечить своевременный выход кавалерийских — советских и монгольских — дивизий в район Долоннора, им предстоит за три дня покрыть около трехсот километров. Это потребует крайнего напряжения. И людей, и лошадей.

Проверив, как с заправкой танков, Плиев остался доволен: работа шла полным ходом, солдаты возбуждены, радостны — даешь Долоннор! Да, даешь, потому что Долоннор — крупный узел дорог, ворота Большого Хингана в направлении к городу Жэхэ и одноименной провинции.

В полночь команда: «По машинам!» — и танки с десантом автоматчиков, рокоча моторами, двинулись один за другим. За озером — зыбучие пески, танки сбавили взятую было приличную скорость. Колесные машины буксовали, их вытаскивали тягачами. Потом, верно, путь стал получше: подобие тропы. Но ненадолго: опять барханы. До рассвета двигались рывками: то хорошая скорость, то заминка. С рассветом над колонной пролетали «Илы». Находившийся при Иссе Александровиче представитель авиационного командования приказал штурмовикам уточнить маршрут на Долоннор. Авиаторы доложили: на маршруте те же барханы, однако на одном участке проложена накатанная дорога, а на подступах к городу она доступна даже колесному транспорту. Авиаторы малость недоглядели: накатанная дорога обернулась двумя сборными железобетонными колеями чрезвычайно малой грузоподъемности, так сказать. Но и по ним, кроша бетон, загрохотали танки.

Солнце, выкатившееся из-за Хингана, застало подвижную группу на высотах у Долоннора,— сам город, обнесенный где каменной, где глинобитной стеной с наблюдательными, сторожевыми вышками по углам, лежал в долине. Контуры зданий тонули в тумане. Город спал, не предугадывая, каким будет про-

буждение. На переднем плане — отдельные дома и вышка с аэростатом, понятно: аэродром. За ним — два храма, а там уж и городские кварталы. Танки начали разворачиваться в боевой порядок. Плиев с комбригом, выдвинувшись, заняли командно-наблюдательный пункт. Прильнув к биноклю, Исса Александрович обшаривал аэродром — первый объект атаки. Безлюдно. И самолетов не видать.

Не останавливаясь, танки перевалили гребень сопки — и вниз, к аэродрому. Проскочили летное поле. Стреляя с ходу, пошли к казармам. Автоматчики спрыгнули, бросились к диспетчерскому пункту. Из-за казарм японцы открыли сильнейший огонь: пушки, пулеметы, винтовки. Пули засвистели, разрывы зачернелись на поле, некоторые снаряды попадали в тридцатьчетверки, однако пробить броню не могли — лишь скрежет да искры. Танки ближе и ближе к казармам, автоматчики — кучками — еле поспевали за машинами. Неприятельский огонь не утихал. Плиев сказал комбригу:

— Атакуйте стремительней. Фланги, фланги выигрывайте!

— Слушаюсь, товарищ командующий! — И полковник коротко и властно отдал распоряжение через шлемофон. И тотчас половина танков, развернувшись, устремилась к северо-восточной части Долоннора, другая — в обход справа, с юго-запада.

Там и сям взвились красные ракеты — это автоматчики указывали танкистам расположение огневых точек японцев. В бинокль Плиев видел: вот такая ракета, вся в розовом дыме, упала в ломкую траву, в жилистый кустарник неподалеку от замаскированного орудия. Башня ближайшего танка крутанулась, хобот пушки качнулся, плеснул огнем. Разрыв — и японское орудие подскочило, перевернулось кверху колесами, расчет разметало. Ракета упала возле пулемета, укрытого за деревом-перестарком в истрескавшейся коре. Опять удар танковой пушки — и пулемет в воздухе, вместе с кусками расщепленного дерева. Танковые пушки били точно, прицельно, но артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь не ослабевал: огневых точек было много.

Особенно досаждали орудия, расположенные на сопке за казармами. Туда и рвались тридцатьчетверки. Передняя уже на сопке: наскочив на орудие, подмяла под себя, раздавила заодно с прислугой. И остальные танки врываются на высоту, артиллеристы бегут...

Комбриг закричал в шлемофон:

— Я — «Двенадцатый», я — «Двенадцатый»! Вижу на высоте белый флаг. Стрельбу прекратить! Стрельбу прекратить!

Но из окон казарм продолжали строчить пулеметы. Танки подошли вплотную к казармам, в упор расстреляли пулеметы, и следом в помещения вбежали наши автоматчики.

Огонь японцев постепенно угасал. Все больше белых полотенец на палках — флаги капитуляции. Танки на малой скорости расползлись вокруг казарм, окружили их. Японские солдаты с поднятыми руками, перепачканные копотью и кирпичной пылью, выходили из помещений, строились в очередь, складывали оружие. Плиев сказал комбригу:

— Пленных собрать в одном месте, под охрану автоматчиков... А вы главные силы немедля ведите в город. В первую очередь занимайте радиостанцию, телефонный узел, полицейское управление...

— Есть, товарищ командующий!

— И еще: частью сил отрежьте путь на Жэхэ, если вздумают отходить... В сторону Жэхэ и Калгана вышлите разведку!

Полковник козырнул и поспешил к танку. Через переводчика Плиев спросил у пленного офицера, близоруко щурившегося сквозь разбитые очки:

— Есть ли в городе войска?

— Нет. С утра гарнизон вывели по боевой тревоге в район казарм, чтобы занять оборону.

— Только сегодня?

— Да. Нам говорили, что красные наступают на северные города и на Калган. А о наступлении на Долоннор не было известно.

— Ожидается ли подход войск из Жэхэ?

— Не знаю...

— Едем в город,— сказал Плиев и вытер лоб.

Вслед за танками с автоматчиками «виллис» командующего через обитые железными полосами ворота въехал в Долоннор. Танки заняли перекрестки, а Плиев поехал по захламленной, в стоках нечистот улице — дом к дому, будто сплошная стена. У дверей толпились истощенные, оборванные китайцы: улыбаются, машут разноцветными флажками, кричат: «Вансуй! [1] Шанго!» — и ставят торчком большой палец — вот теперь понятно, что хорошо!

Возле фанзы на корточках старик — в рубище, худой как скелет, руки-плети, впалая грудь, впечатление — не дышит. Рядом со стариком наш солдат, сует в рот фляжку, но китаец отворачивается. «Виллис» остановился. Плиев спросил:

— Что здесь происходит?

Солдат вскочил — руки по швам. Один из порученцев спросил:

— Не спиртное ли предлагаешь?

— Никак нет! — отчеканил солдат. — Я молока раздобыл. А старикан умирает от голода...

— Так почему же он отворачивается? — заинтересовался Плиев.

— Он, товарищ командующий, говорит: ему нечем заплатить за молоко. — Это порученец-переводчик.

— Объясните старику, что советский солдат бесплатно угощает его,— сказал Плиев.

Переводчик произнес что-то по-китайски, и старик недоверчиво посмотрел на русских. Неуверенно протянул руку к фляжке.

А Плиев приказал порученцу:

— Запишите: организовать продовольственное снабжение Долоннора. Второе: в городе развернуть полевой госпиталь, он проведет работу по медицин-

---

[1] Десять тысяч лет жизни! *(кит.)*

скому обслуживанию населения. Здесь много больных, истощенных людей... Как говорят китайцы: «Кто помогает бедным, сам становится богаче». Так ведь, майор?

— Так точно, товарищ командующий!

А Плиев подумал: «Мы в Долонноре! Как же наш спор с генералом Никифоровым? Куда склоняется правда?»

Он вспомнил былой спор с Никифоровым и позже — когда форсировали горные перевалы и разлившиеся в ливень реки, брали Жэхэ, штурмовали Калганский укрепленный район, когда готовились к броску на Бэйпин, то есть на Пекин,— до него был один переход, но поступил приказ командующего фронтом дальше не продвигаться, когда с маршалом Чойбалсаном поднимался на Великую Китайскую стену. Вспоминал и ни словом не намекнул начальнику штаба о его мрачных пророчествах. Странно, но и тот ни разу не упомянул о своей неправоте. Что ж бывает...

(Окончание следует)

Олег Павлович Смирнов

«НЕИЗБЕЖНОСТЬ»

Роман

Редактор *З. Радишевская*

Художественный редактор *А. Максимов*. Технический редактор *Л. Изгаршева*.
Корректоры *Т. Гринивецкая, Н. Попова*

Сдано в набор 22.05.85. Подписано в печать 08.07.85. А 10396. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,24. Уч.-изд. л. 11,51. Тираж 2 000 000 экз. (2-й завод 500 001—2 000 000 экз.). Заказ 1655. Цена 1 р. 01 к.

Наш адрес: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов Московской обл. Зак. 1419

Рукописи ранее не опубликованных произведений
редакцией не принимаются и не рассматриваются.



ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ — ОТВЕЧАЕМ

Читатель Потапов И. Т. из города Владивостока спрашивает, каковы планы редакции на 1986 год?

Редколлегия рассматривает для публикации в 1986 году следующие произведения: повести А. Алексина «Сигнальщики и горнисты», «Здоровые и больные», роман Ю. Бондарева «Игра», роман В. Бубниса «Час судьбы», «Повесть о жизни Ивана Петровича Павлова» С. Воронина, повести Д. Гранина «Еще заметен след» и В. Распутина «Пожар», исторический роман П. Загребельного «Я, Богдан», повесть П. Проскурина «Порог любви», роман Ю. Семенова «Экспансия», роман Н. Кузьмина «Приговор», роман В. Пикуля «Крейсера», повести И. Васильева, Б. Екимова, В. Потанина, И. Уханова, и сборник детективных повестей «Следствием установлено...», роман И. Шамякина «Петроград—Брест», роман А. Калинина «Цыган» и другие.

Читатель Куприянов Н. С. из города Нальчика ставит вопрос о необходимости улучшения оформления журнала.

В 1986 году намечено издавать «Роман-газету» в новом оформлении. Обложка журнала будет печататься в четыре краски с введением иллюстрационного материала. Уже в нынешнем году номера 18 и 19 журнала (роман И. Стаднюка «Москва, 41-й») выйдут в новом оформлении. В 1987—1988 гг. предполагается перевести «Роман-газету» на книжный формат.

Читатели П. Дюжев, А. Левина и В. Овчинников из г. Николаева пишут, что они являются постоянными подписчиками «Роман-газеты» и, уходя на пенсию, решили оформить коллективную подписку, что позволило им без особого материального напряжения не прерывать связь с изданием. Они просят обратить на это внимание и других наших читателей.

Благодарим наших добрых верных друзей и с удовлетворением поддерживаем такую форму подписки, которая позволяет расширить круг наших читателей.

Читатель С. Борин из поселка Кысыл-Сыр спрашивает: не могли бы Вы посоветовать, где и каким образом можно получать предварительную информацию о новых подписных изданиях и, в частности, о «Роман-газете»?

С нашей точки зрения, таким советчиком для читателя является газета «Книжное обозрение». Она информирует о новинках литературы, выпускаемой издательствами нашей страны, постоянно печатает годовые, квартальные планы выпуска подписных изданий, публикует беседы с руководителями издательств по различным книжным сериям. Словом, это надежный компас в книжном море.

Печатается в «Книжном обозрении» издательский план «Роман-газеты», аннотации на выходящие номера, отклики и рецензии на многие произведения, опубликованные в «Роман-газете». Более того, в газете дается информация о книгах, распространяемых через систему «Книга — почтой».

На газету «Книжное обозрение» как и на «Роман-газету» можно подписаться во всех предприятиях «Союзпечати», отделениях связи и у общественных распространителей печати по месту работы, учебы и жительства.

1 р. 01 к. 70782